

*В.Н. Ильин*

ПЕРЕЖИТОЕ

*Предисловие, подготовка текста и комментарии*

*Е.В. Бронниковой и О.Т. Ермишина*

В архивном собрании Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына с 2005 г. хранится и продолжает пополняться личный архивный фонд Владимира Николаевича Ильина (1890–1974), философа, богослова, музыкального критика, искусствоведа, композитора, публициста русского зарубежья.

Владимир Николаевич Ильин родился в имении Владовка под Киевом. Около 1893 г. он вместе с матерью Верой Николаевной Ильиной (урожд. Чаплиной) и ее родителями Надеждой Петровной и Николаем Петровичем Чаплиными переехал в имение Ивань Минской губернии. В 1900 г. поступил в Слуцкую гимназию и окончил там три класса. В 1903 г. в связи с кончиной деда Н.П. Чаплина имения Ивань и Докторовичи Минской губернии были проданы, Владимир Ильин вместе с матерью вернулся в Киев, где учился в 1-й и 4-й киевских гимназиях, затем окончил физико-математический (отделение естественных наук, 1912) и историко-филологический (философское отделение, 1917) факультеты Киевского университета св. Владимира (в настоящее время Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко); изучал композицию, историю и эстетику музыки в частной консерватории.

В 1918 г. В.Н. Ильин стал приват-доцентом Киевского университета и приступил к чтению курса лекций по философии. Имение Норинск под г. Овручем и хутор Россаховский, принадлежавшие матери Ильина, были разграблены, киевская квартира В.Н. Ильина (на углу Паньковской и Николо-Ботанической улиц) в январе 1918 г. сгорела<sup>1</sup>.

Приход большевиков к власти он назовет торжеством «красного ига», с установлением которого почувствовал «смертельную опасность по причине давнишней <...> борьбы с материалистической марксистской идеологией» [Ильин 1996, с. 77] и решил покинуть пределы бывшей Российской империи. Зимой 1919 г. Владимир Николаевич уехал из Киева сначала в Одессу, а потом в Константинополь, где он первоначально и обосновался, занимаясь преподавательской деятельностью. В 1923 г. при содействии Американского византийского общества ему удалось перебраться в Берлин, где он получил богословское образование. В 1925 г. Ильин был приглашен в Париж в Свято-Сергиевский православный богословский институт, где читал курс литургики и

<sup>1</sup> Архив ДРЗ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 672. Л. 2.

средневековой философии, писал статьи и книги об апологетике и православном богослужении.

В декабре 1944 г. в Париже по инициативе Братства св. Фотия (председатель Н.А. Полторацкий) и священника, члена братства Е.Е. Ковалевского открылся французский православный Богословский институт св. Дионисия (Institut St. Denis), куда В.Н. Ильин был приглашен для чтения лекций по православной литургике (см.: [Русское зарубежье... 2000, с. 67; Третий час 1946]). В дальнейшем Владимир Николаевич читал там лекции на русском и французском языках по методологии наук, логике, древней философии, литургическому богословию и др. В конце 1940-х — начале 1950-х гг. Ильин был преподавателем Русской консерватории в Париже и вел музыковедческие дисциплины, в ноябре 1949 г. избран профессором консерватории по классу церковной композиции<sup>2</sup>.

Владимир Николаевич прожил долгую творческую жизнь: писал статьи, монографии, отзывы, читал разные лекции, посвященные вопросам философии, литературы, истории, музыки, богословия, психологии, естествознания и т. д. и т. п.; практически весь послевоенный период жизни ежедневно вел дневники. Дважды его личный архив пропадал: первый раз — когда из России он перебрался в Константинополь, второй — в годы Второй мировой войны, когда были утрачены некоторые его работы и переписка. Ильин, отличавшийся неустанным творческим горением и страстностью натуры, был переполнен идеями и замыслами... Он, по-видимому, старался зафиксировать на бумаге все свои планы, темы для разработки, поэтому всегда чрезвычайно трепетно относился к своим рукописям, наброскам, заметкам, выпискам... Тем не менее исследователю явно не хватало систематичности и пунктуальности, столь необходимых для сохранения архивных материалов. В результате в его личном архиве отложилось большое количество документов, иногда в двух, трех, пяти экземплярах, часто с утратой отдельных листов или значительных фрагментов, с перепутанным порядком расположения частей текста. Все это усложняет работу по систематизации архива и его изучению.

Для первоначального знакомства с рукописным наследием В.Н. Ильина выбраны воспоминания «Пережитое», посвященные раннему детству, проведенному в имениях Владовка Киевской губернии, Ивань и Докторовичи Минской губернии, и гимназическим годам в Слуцке<sup>3</sup>. Это первая часть задуманных, но недописанных мемуаров.

Воспоминания писались в несколько приемов в 1941–1944 гг. Первые упоминания о «Пережитом» встречаются в дневниковых записях от 7 и 12 декабря 1941 г.:

*«7 декабря. Воскресенье. <1941 г.> <...> Мне пришло в голову в связи с писанием мемуаров — “Пережитое” и о тех хороших людях, с которыми мне*

<sup>2</sup> Архив ДРЗ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 6. Л. 56. Дневниковая запись в ночь с 9 на 10 ноября 1949 г.: «Сегодня я узнал, что абсолютным большинством (всеми) голосов я был избран профессором русской консерватории по классу церковной композиции и строгого стиля. Пожалуй, это самый крупный мой успех за все время моего пребывания в эмиграции. Слава Тебе Боже!»

<sup>3</sup> Там же. Д. 665. Подлинник. Автограф; Д. 666. Л. 1–44. Ксерокопия машинописи.

пришлось встретиться на моем пути, что вообще надо быть благодарным людям за все добро, от них получаемое, а за зло — просить у Бога: “Да простятся им их грехи”. <...>

12 декабря <...> я чувствую, что прав, когда гневаюсь на наших левых, которые, пролив кровь имп. Александра II и имп. Николая II, мистически и прагматически, символически и реально, стали почти единственными виновниками всего того, что теперь совершается. Это и будет одной из главных тем “Пережитого”<sup>4</sup>.

О своих замыслах упоминает он и в письме Н.А. Бердяеву: «Что касается записи о происшедшей со мною духовной катастрофе, то я уже это начал несколько месяцев тому назад. Эта запись будет состоять из нескольких отделов, из которых главные будут называться: 1) Пережитое, 2) Болезнь, 3) Выздоровление. <...> Если удастся привести этот замысел к концу, то переписанный на машинке экземпляр будет Вам доставлен — конечно»<sup>5</sup>. Начиная с 1933 г. Ильин переживал глубокий духовный кризис («черную отвесную кручь», по его меткому выражению), усилившийся во время Второй мировой войны. Началом кризиса стали личные переживания на почве неразделенной любви<sup>6</sup>, а затем болезненный разрыв с Н.А. Бердяевым [Ильин 1997]. Конфликт еще более усугубила статья Ильина против Бердяева «Идеологическое возвращенство» в газете «Возрождение» (1 февраля 1935 г.). Затем после начала немецкой оккупации Франции приостановил свою деятельность Свято-Сергиевский богословский институт, в который Ильину уже не удалось вернуться после окончания войны. Вокруг Ильина стал образовываться духовный «вакуум», критичное отношение к нему значительной части русской эмиграции еще больше усилилось после обвинений его в сотрудничестве с пронемецким «Управлением делами русской эмиграции во Франции» (см.: [Ермичёв 2012]). В этот трудный период и писался текст «Пережитого». Обращение к далекому и невозвратному прошлому отчасти помогло В.Н. Ильину пережить эти страшные, мучительные годы.

«Пережитое» — это необычные воспоминания, они написаны критичным и рефлектирующим человеком, ищущим религиозно-философского смысла. В воспоминаниях Владимир Николаевич наглядно демонстрирует упомянутое в них «эмоциональное мышление»: он легко переходит от одной темы к другой, от лирических описаний к критическим оценкам, от бытовых деталей к философским и богословским проблемам. Иногда кажется, что автор воспоминаний стремится преодолеть границу между временем и вечностью. Прошлое и пережитое для Ильина не исчезло, так как его можно воскресить творческой силой памяти, эмоций, воображения. К тому же Ильин ищет в

---

<sup>4</sup> Архив ДРЗ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 4. Л. 9, 10.

<sup>5</sup> Письмо В.Н. Ильина Н.А. Бердяеву от 8 июня 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1496. Оп. 1. Ед. хр. 491. Л. 34об.).

<sup>6</sup> В сентябре 2015 г. в архивное собрание ДРЗ поступил полный текст воспоминаний В.Н. Ильина, состоящих, как и намеревался автор, из трех частей — «Пережитое», «Болезнь», «Выздоровление» (Архив ДРЗ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 667. Ксерокопия машинописи). В «Болезни» он пишет о расставании с любимой девушкой Татьяной Степановой осенью 1933 г.

прошлом ответ на вопрос о своей несчастной судьбе и находит его в осмыслении закона возмездия, когда свое изгнание и гибель России воспринимает как заслуженное наказание. Ильин начинает воспоминания с философского аффекта удивления и заканчивает драматическим финалом с метафорическим описанием того, что с ним произошло.

Несколько десятилетий спустя, в 1965 г., В.Н. Ильин предпринял новую попытку осмысления своего жизненного опыта и начал писать воспоминания, которые озаглавил «Концлагерь на свободе (опыт автобиографии)», текстологически во многом совпадающие с «Пережитым». Их отличает чрезвычайно эмоциональная категоричность автора в оценках прошлого и настоящего, отраженная уже в самом названии документа. Скорее всего, это начинание завершено не было<sup>7</sup>.

\* \* \*

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (в то время еще Библиотеку-фонд «Русское зарубежье») выбрала во время одного из приездов в Россию для хранения рукописного и библиотечного собрания В.Н. Ильина его вдова — Вера Николаевна Ильина (1912–2004). Документы в БФРЗ–ДРЗ после кончины Веры Николаевны передавали Елена Ильина-Гурдон и Николай Ильин. Это один из наиболее крупных фондов ДРЗ (Ф. 31), находящийся в процессе научно-технической обработки, изучение его материалов только начинается.

В Дом русского зарубежья на хранение попали только часть автографа воспоминаний «Пережитое», написанного разными чернилами на бумаге разного качества и формата, и неполный экземпляр машинописи конца 1950-х — 1960-х гг., выполненной, по всей видимости, по просьбе автора, — направленной, с большим количеством текстологических пропусков, ошибочным прочтением отдельных слов, вычеркиванием некоторых фрагментов<sup>8</sup>. При подготовке публикации пришлось реконструировать воспоминания, совместив в едином тексте сохранившиеся фрагменты, что оговаривается в подстрочных текстологических примечаниях. Когда публикация была уже подготовлена, в архивное собрание ДРЗ поступили еще две копии документа: во-первых, упоминавшаяся уже ксерокопия машинописи полного текста трехчастных воспоминаний<sup>9</sup>, во-вторых, машинописный экземпляр «Пережитого» с правкой неустановленного лица, причем, скорее всего, правка делалась по автографу<sup>10</sup>, что позволило частично восстановить имевшиеся пропуски или уточнить прочтение некоторых слов. Воспоминания В.Н. Ильина публикуются в полном объеме впервые. Обширные цитаты из этого документа приводились в ряде статей А.П. Козырева [Козырев 1996, 1997].

Текст печатается по современной орфографии и пунктуации с сохранением авторских особенностей, явные опечатки исправляются без оговорок; сверены и уточнены цитаты. Сокращенные слова раскрыты в угловых скобках.

<sup>7</sup> Архив ДРЗ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 672. Неполный экз.

<sup>8</sup> Там же. Д. 665, 666.

<sup>9</sup> Там же. Д. 667.

<sup>10</sup> Там же. Д. 668.

В них же помещены слова, прочитанные предположительно или восстановленные по контексту или по машинописной копии с правкой неустановленного лица, а также слова, отсутствующие в документе, но необходимые по смыслу. Публикаторские изъятия повторяющихся слов обозначены знаком купюры <...>, также обозначены пропуски текста, имеющиеся в документе, что оговаривается в подстрочных примечаниях. Все авторские выделения текста передаются курсивом.

Авторы благодарят Е.Ю. Дорман, С.М. Кокурину и С.Г. Нелиповича за помощь в расшифровке текста.

## Источники и литература

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства

- Безносков 1997 — *Безносков В.* Покаянные письма В.Н. Ильина, или Страсти по Бердяеву // Звезда. 1997. № 3. С. 169–171
- Бердяев 1990 — *Бердяев Н.А.* Собр. соч. Париж, 1990. Т. 4.
- Бронникова 1997 — *Бронникова Е.* К истории взаимоотношений В.Н. Ильина и Н.А. Бердяева // Звезда. 1997. № 3. С. 187–189
- Гегель 1992 — *Гегель Г.В.Ф.* Феноменология духа. СПб., 1992.
- Глебов 1903 — *Глебов И.* Историческая записка о Слуцкой гимназии с 1617–1630–1901 гг. Вильна, 1903.
- Ермичёв 2012 — *Ермичёв А.А.* Casus Владимира Ильина, или О том, как трудно любить Россию // Вопросы философии. 2012. № 4. С. 111–120.
- Ильин 1965 — *Ильин В.Н.* Чайковский и русская симфония // Возрождение. 1965. № 162. С. 58–79.
- Ильин 1996 — *Ильин В.Н.* Краткое жизнеописание Владимира Николаевича Ильина, магистра философии и доктора богословия // Вопросы философии. 1996. № 11. С. 77–78.
- Ильин 1997 — *Ильин В.Н.* Письма Н.А. Бердяеву // Звезда. 1997. № 3. С. 174–186.
- Козырев 1996 — *Козырев А.П.* Перипатетик русского Парижа: <К публикации книги В.Н. Ильина «Статика и динамика чистой формы»> // Вопросы философии. 1996. № 11. С. 75–90.
- Козырев 1997 — *Козырев А.П.* В тени Парнаса и Афона // *Ильин В.Н.* Эссе о русской культуре. СПб., 1997. С. 3–34.
- Отчет о состоянии Слуцкой гимназии... 1899 — Отчет о состоянии Слуцкой гимназии в 1897–98 учебном году / сост. В.А. Берсенев. Слуцк, 1899.
- Религиозно-философское общество... 2009 — Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907–1917: в 3 т. М., 2009. Т. 1.
- Розанов 1911 — *Розанов В.В.* Темный лик. Метафизика христианства. СПб., 1911.
- Русское зарубежье... 2000 — Русское зарубежье: хроника научной, культурной и общественной жизни. 1940–1975. Франция / под общ. ред. Л.А. Мнухина. Париж; М., 2000. Т. 1 (5).
- Сазанович (Ильин) 1997 — *Сазанович П. (Ильин В.Н.).* Идеологическое возвращенство // Звезда. 1997. № 3. С. 171–173.
- Третий час 1946 — Третий час. N. Y., 1946. Вып. 1. С. 94–97.
- Фрагменты... 1989 — Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. I.



Начну с удивления. Это философский аффект. И кроме того, удивление есть та «недоступная черта», которая отделяет духовных аристократов от пошляков и мещан, в каком бы они ранге ни находились. Для них обыкновенен даже Иисус Христос, из которого они сделали либо великого учителя морали, пострадавшего за идеи, либо «небесного дядюшку», покровителя подлецов и дураков, источника протекций и теплых местечек на этом свете и на том. Пошляки и мещане знать не хотят того, что у Бога нет зрения на лица и что «всё обыкновенно сравнительно с Иисусом»<sup>1</sup>, — как очень хорошо сказал В.В. Розанов. Но ведь пошляки с мещанами («фарисеи» и «саддукеи») Его распяли... и они же подкупили вооруженную мразь, испугавшись воскресения Распятого. А когда освоились с тем, с чем освоиться нельзя во веки веков, то сделали из Пасхи обжорку... «мне всё нипочем, ежели захочу, весь этот пасхальный стол сожру»... Попы и купцы... «медное войско вокруг Христа»<sup>2</sup>, — припечатывает всё тот же Розанов.

...Удивляюсь!.. Удивляюсь тому, что я, Владимир Николаевич Ильин, родившийся 16 (29) августа 1890 г. в селе Владовка Киевской губернии Радомысльского уезда в имении своих дедов, теперь в изгнании, во французской провинциальной глуши, пятидесятитрехлетним бесправным парией с седой головой пишу эти строки. Удивляюсь своему бытию, своему сознанию, тому, что я — *это я*, удивляюсь светлым высотам, темным глубинам и провалам своего духа. Удивляюсь своим радостям и страданиям, удивляюсь тому, что я — мыслитель и художник, человек страстный и порочный, часто одержимый, но во всяком случае очень несчастный... Несчастный вследствие страданий от противоречий, раздирающих меня, несчастный вследствие ненависти ко мне со стороны мещан и пошляков, а также тех, кто по роковому недоразумению считает меня в числе своих идеологических и политических противников, хотя я ни в какой степени не идеолог и не политик. Конечно, есть и такие ненависти, которыми надо гордиться, напр<имер>, ненависть заведомых негодяев, низких и злобных людей. Но от этого не легче.

С первых же дней моей жизни меня окружали в огромном большинстве своем или очень добрые, но крайне неразвитые, люди, или же люди неразвитые и недобрые... Первая категория, которую я очень любил и всё ей прощал, — это наивные простецы вроде моего покойного дедушки Николая Петровича Чаплина. Вторая категория — это «себе на уме» прозаические дельцы вроде моего покойного отчима Нарцисса Аницетовича Дубинского (бывший управляющий моего деда, обрусев-

ший поляк). К этой же категории «себе на уме» прозаических душ относятся ремесленники науки и искусства разного рода, «духовных дел мастера», карьеристы, более или менее набившие себе руку в технике своего дела, в кувыркании перед молодежью, но внутренне совершенно чуждые тем ценностям, которые стали для них пирогом, — и именно вследствие этого преуспевающие в жизни, всеми любимые и всеми уважаемые. Уже в Париже я столкнулся с такими лицами, как притворившийся черносотенцем, но в действительности иудо-оппортунистичный Георгий Мейер<sup>3</sup>, мелкая мразь, низкий аморальный негодяй, духовно сгнивший от головы до пят, — и симпатизирующий ему Лже Дон Кихот черносотенства, ни на что не пригодный кн<язь> Горчаков<sup>4</sup>. До Мейера — такой же негодяй П.П. Сувчинский<sup>5</sup>. Я тяжело страдал — и теперь страдаю от того, что в качестве художника я влекся всегда к чувственным конкретностям, к образам и звукам, и был заклятым врагом книжности и интеллигентства, хотел быть и был в молодости босоногим Лелем и «ковбоем»... но в качестве ученого и мыслителя неудержимо стремился к схематизму понятий, к отвлеченной мысли, очень любил чистую математику и гносеологию — и стремился основать самую отвлеченную из всех философских наук, холодную, как междупланетное пространство, «общую морфологию», и всю свою жизнь просидел над книгами в пыли библиотек, выражаясь на таком заумно специальном языке, что стал непонятен даже самым искушенным в этом деле читателям.

Как художник я возлюбил, прежде всего, чувственную красоту священной осязаемой плотности. Как интеллигент я был всегда склонен к святости и монашеству, к аскезе, влекся к духовенству. Но в то же время ненавидел люто и монахов, и аскетов, и вообще духовенство за их непонимание красоты, за скопчество, за холодную прозаическую развращенность и тяготение к благам земным (не духовенство, а «плотовенство»), за полное отсутствие детской непосредственности, за неспособность умиляться красотой Божьего мира, за нежелание «поклоняться придорожью», «припадать к траве» и «чуять радуницу Божию» (выражаясь словами раннего Есенина<sup>6</sup>).

Эмоциональное мышление (Emozionaldenken), поэзия и, прежде всего, музыка, музыка, музыка — вот чем с самого начала была полна моя душа. Помнить себя я начал удивительно рано — раньше года. Пошляки этому не верят, да это и неудивительно. Они мерят по себе, а им-то что вспоминать? Ведь это всё пустые «орехи со свистом», куда забралась нечисть. Поэтому они и не верят в существование орехов с ядром, не верят в онтологию — как в жизни, так и в метафизике. Скепсис — глубоко пошлый, мещанский аффект и за редким исключением удел хамов и холуев, вроде Ария<sup>7</sup> и им подобных. От скепсиса спасает внутренняя музыка души.

И музыка, музыка, музыка  
Вплетается в пеньё мое  
И узкое, узкое, узкое  
Пронзает меня лезвие... (Ходасевич)<sup>8</sup>

Как мне писать эти воспоминания? Туннель надо пробивать с двух противоположных концов. Поэтому буду писать от начала и от конца. Человек должен жить и думать так, как будто каждое его мгновение — последнее...

Но в эти дни лета 1942-го — разгар военного ада, когда мне пришлось до ужаса много пережить (Paris — Garancière<sup>9</sup>), — моя мысль, мое сердце и все мое существо стремится к видениям прошлого, которые стеснили меня повсюду, придвинулись вплотную. И мне хочется обратиться к ним со словами «Zueignung»<sup>10</sup> Гёте, самого прекрасного из когда-либо написанных предисловий.

Ihr bringt mit euch, die Bilder froher Tage  
 Und manche liebe Schatten steigen auf;  
 Gleich einer alten, halbverklugnen Sage  
 Kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf;  
 Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage  
 Des Lebens labyrinthisch irren Lauf  
 Und nennt die Guten, die, um schönen Stunden  
 Vom Glück getäuscht, vor mir hinweggeschwunden.

.....  
 Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen  
 Nach jenem stillen, ernstesten Geisterreich;  
 Es schwebet nun in unbestimmten Tönen  
 Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,  
 Ein Schauer faßt mich, Träne folgt den Tränen,  
 Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich;  
 Was ich besitze, she ich wie im Weiten,  
 Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten<sup>11</sup>.

Позитивисты и вообще те, кто держится убогой репрезентативной теории познания, думают, что воспоминание есть простое воспроизведение — более или менее несовершенное, с провалами и искажениями, исполнение похоронного и старого диска. Но это совсем не так. Воспоминание, как всякое познание, есть творчество и всегда поэтому окружено ореолом художественных и всяких иных переживаний, это есть вечная жизнь отошедшего по его воскресении. То и не то. В этом радость, в этом необычайная тоска воспоминаний, которые суть бессмертные года прошедшего, и в этих чадах — его вечная жизнь. Но творчество воспоминаний должно быть по своим устремлениям честным, в нем не должно быть намеренной выдумки, и все должно происходить так, как будто «репрезентативисты» правы. Классики-живописцы ведь всегда пишут так, как будто они копируют действительность, но получается творчество, свежее, ненарочитое. Отвергаю и проклинаю, как пошлую бесовщину, всякий футуризм, всякое намеренное искажение и уродование. Лучше олеография, чем уродство... Это же касается литературы, музыки, архитектуры, философии... и даже кулинарного дела. Однако ни один футурист не является таковым в кулинарном деле. Пикассо! Я тебе тогда поверю, когда ты будешь питаться <2 сл. нрзб.>, <заловя> их Ренуаром.

Мне дан большой композиторский дар, но не дано удачи — и я пишу мелодии для самого себя без надежды на аудиторию, хотя это отсутствие соборного принципа в моей музыкальной работе мне очень мешает. Но всё же то, что я не в силах выразить словом в этих строках, я уже выражал и буду стремиться выражать в звуках.



Поделись живыми снами,  
Говори душе моей,  
Что не выскажешь словами,  
Звуком на душу навей (А. Фет)<sup>12</sup>.

Мне горько, что, будучи артистом по существу, я теперь должен уподобиться некоему «Цицерону в отставке» и начать свои «Тускуланские беседы»<sup>13</sup>, ибо и в академической деятельности вследствие моей греховной неосмотрительности и еще более вследствие злобы и непорядочности людской я потерпел фиаско. Воспоминание и тускуланский стиль деятельности — вот что мне осталось. Но <в> каждое мгновение и это может прекратиться\*. Передо мною смерть — и притом в самых ее ужасных и разнообразных возможностях. Сейчас война и всесторонний террор. Меня может разорвать бомбой с аэроплана, меня могут оклеветать, бросить в тюрьму и поставить под дуло палачей бесчисленные доносчики, лжецы и клеветники. Наконец, я болен и очень уже не молод, голова моя поседела. Поэтому мои воспоминания — это какое-то сочетание «панорамного видения жизни умирающего» с размышлениями о смерти, с философской танатологией.

Есть еще для меня горшая из возможностей: медленное угасание в смертельной тоске от утраты близких, что гораздо хуже смерти. <Ergo et ii, quibus evenit iam ut morerentur, et ii, quibus eventurum est, miseri (Cic. Tusc. V. 9).><sup>14</sup>

Конечно, Цицерон со своим электическим стоицизмом борется с этим взглядом. Но есть что-то жалкое, прости Господи, не только в стоицизме (и скучное, что подметил Гегель в «Феноменологии духа»<sup>15</sup>), но и в самом Цицероне и в его ужасной смерти.

Эти слова, не помню какого средневекового мыслителя, все время томят мою душу несказанной тоской... В этой молитве мало отрады и очень много печали.

Да, я нашел слово! <Le mot du mourant<sup>16</sup>> — вот чем будут мои записки.

И мой нынешний философский труд о Сократе и Ницше и моя музыка к «Страшной мести» Гоголя — все это <le mot du mourant>. Но отчаля от берега вечности (рождение) и причала к нему (смерть) — не есть ли это встреча противоположностей, хотя и асимптотическая<sup>17</sup>?

Я весь в созерцании и переживаниях, но не в действии, не в инициативе. Когда такое свойство сочетается с безумным темпераментом, то это может только взрывать и калечить жизнь, быть проклятием и обречением на несказанные мучения здесь на земле и, быть может, за гробом, ибо я весь в ропоте, в проклятиях и кощунстве — я, богослов, мистик, церковный человек! Может ли быть что-нибудь хуже? Мне все время надо сдерживать свой бешеный, безумный темперамент и притворяться «паинькой». Все мои попытки действия и инициативы всегда и неизменно проваливались с позором или же обращались против меня, превращаясь в длительное самоубийство. В связи с этим, несмотря на чувство своей одаренности, я всегда был под гнетом того, что немцы называют «Minderwertigkeitsgefühl», а французы «complexe <d'infériorité>»<sup>18</sup>.

---

\* Далее часть текста воспроизводится по ксерокопии машинописи (Архив ДРЗ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 666. Л. 2–17).

Такое свойство очень способствовало моему теперешнему богословско-философскому мирозерцанию, как в его основах, так и в деталях его развития. Это — мирозерцание эссенциальное, онтологическое, софийное, резко антиволюнтаристическое, антиэкзистенциальное, хотя я сам весь в экзистенции, и притом в экзистенции пассивно страдающей, претерпевающей. Я в философии очень долгое время держался о. Сергия Булгакова против Ник<олая> Алек<сандровича> Бердяева. А ведь я очень любил и люблю его темпераментные сочинения, полные страсти и огня и потому всегда односторонние, любил и люблю его дом и семью, и разрыв с ним, происшедший в 1934 г., есть одна из самых тяжелых катастроф моей жизни, в сущности меня безнадежно состаривших и заживо погребших<sup>19</sup>. И меня Бердяев любил, принимал как родного и всячески меня ласкал и поощрял (разумеется, только не в плохом) <...><sup>\*</sup> в то время как о. Сергей Булгаков вольно или невольно, но был злым гением моей жизни, да еще в качестве духовника<sup>\*\*20</sup>. Теперь, впрочем, я понял, что эссенциальная софиология о. Сергия Булгакова и экзистенциальное метафизическое учение Н.А. Бердяева о свободе представляют антиномию внутри какого-то грандиозного философского целого, именуемого русской метафизикой. Но этот вывод пришел ко мне после разрыва с Бердяевым и после того, как я стал стареть. Старость же для меня — ужас из ужасов. Я чувствую себя не только вечным юношей, но даже вечным отроком, младенцем, молодым сатиром, козлом, Лелем, фавном. Старости или даже взрослого состояния я никак не мог себе представить. И вот все же — старость у порога. Проклятие! «Почтенный старец, украшенный сединами, маститый философ» — тьфу! Нет, лучше в молодости быть сатиром («казаком Лукашкой»), в зрелом возрасте быть «дядей Ерошкой», а старости чтобы совсем не было... утешаюсь мыслью, что меня-таки «Марьяшка любила, и не одна»<sup>21</sup>. Но причем же здесь богословие? Ведь богословие на «дяде Ерошке» и на «казаке Лукашке» — да ведь это же петля... Что меня больше всего радует в моих воспоминаниях? Скачка верхом (я был отличный кавалерист), запах лошадиного пота, гул леса, песни парубков и девчат, в обществе которых я был принят по своей искренности, шум моря и девичьи поцелуи... где же тут богословие, черт бы его побрал? Где тут метафизика, очки, кабинетная пыль, не будь ей ни дна, ни покрышки! И вот все же, как символ рока, погубившего мое счастье, — проклятые очки на носу, которые менее всего пристали «Лукашке» и «дяде Ерошке»... Впрочем, Шуберт был в очках, а профессорского в нем не было ничего. Соловей «милостью Божию» — и только. Созерцание мое двойится... То это пассивное переживание со мною случающегося и мною видимого и стоящей за этим метафизической сущности... То это вливание чужих созерцаний, чтение книг, восприятие искусства — главным образом, музыки, хотя я и музыку очень чувствую, не менее, чем литературу. У меня мучительный дуализм жизни (гл<авным> обр<азом>, эротики)<sup>\*\*\*</sup> и книги. Пассивность и созерца-

\* Пропуск в машинописи.

\*\* Слова «в то время как... в качестве духовника» вычеркнуты в машинописи неустановленным лицом.

\*\*\* Слова «(гл<авным> обр<азом>, эротики)» вычеркнуты в машинописи неустановленным лицом.

ние — страдательны. Тут вся моя трагедия. Созерцать — страдать. Действовать — с позором проваливаться. И так плохо, и так. Не так, не то... Впрочем, здесь я в малом виде разделяю судьбу всего человечества — главным образом, старой, милой России. Гимн солнцу и радости — заветная мечта моего творчества, особенно в музыке («Весенняя симфония» <В-dur><sup>22</sup>). Страдать я не хочу — и всё делаю, чтобы страдать как можно больше. Как будто и без этих стараний мало беды! Я одарен. Чувство одаренности естественно повышает самолюбие и жажду творческой и житейской активности. Пассивность понижает и оскорбляет творческое активное самолюбие. И вот я всю жизнь нахожусь под обидами и ударами. Мои переживания — это длинный ряд заушений. С творческой эротикой, которая есть основа моей экзистенции, это никак не вяжется, ибо мужская эротика не пассивна, но активна. Это связано с тем еще, что я навсегда остался ребенком, да еще, так сказать... девочкой (Лель — ведь мальчик-девочка). Какие это должно было вызывать идиотские недоумения и насмешки у стада бездарных, незадумывающихся и бессердечных пошляков — можно себе представить! Отсюда нелеп<ая> мучитель<ность> всех моих поступков, всей моей биографии. Как ребенок я всё всегда принимал с энтузиазмом и всерьез. Взрослая сволочь (от колыбели до могилы, взрослая и пошлая) ничего с энтузиазмом и всерьез не принимает — если это только не касается ее чрева и кошелька. Отсюда — недоумение, а потом и гонение со стороны детоненавистников и детоубийц, которых как раз больше всего в той пакостной клоаке, которая именуется\* духовно-академической средой, в которой я по роду своей деятельности вынужден... циркулировать! Впрочем, также не понимали и ненавидели Россию... Я — Россия. Да, я вечный ребенок и козленок — и потому предельно нелеп. И потому смешон. А что может быть мучительнее чувства своего комизма, особенно при детски серьезном и добросовестно-любовном отношении к окружающему миру?

Все эти мучительные противоречия и конфликты, вся эта безысходность заставляют меня думать о предопределенности к вечной гибели и во всяком случае соблазняться этой мыслью. Меня неудержимо влечет к себе образ монаха Готесшалка (IX в.)<sup>23</sup>, одного из авторов учения о предопределении и одного из самых несчастных и разд<авл>енных судьбой исторических персонажей. Ведь подобно тому, как он силою обстоятельств стал монахом-богословом, что и погубило его, — так и я, по темпераменту артист и «Тарзан», оказался наделенным богословско-метафизическим даром, убивающим счастье моей жизни и высасывающим как вампир всё живое из меня. Я ношусь с мыслью написать книгу «Страдальческая жизнь монаха Готесшалка и судьба учения о предопределении». Я хочу развить эту книгу из той главы моей книги о средневековой философии, которая посвящена этому предмету<sup>24</sup> <...><sup>\*\*</sup> созерцательная эротика, медитативное любование природой, вечная пастораль в душе, чувство вечной молодости, даже детства, даже младенчества, сладость рая до грехопадения, софийное чувство мира и всего космоса, — и в то же время страхи, ужасы («древний ужас»), протесты, гнев, хула, ярость на неустройство мира, на его зло, мерзость, прозу и

---

\* Слова «в той пакостной... именуется» вычеркнуты в машинописи неустановленным лицом.

\*\* Пропуск в машинописи.

пошлость — вот основные противоречия моей жизни... и лютая жалость, лютое сострадание по отношению к слабым и обиженным, месть по отношению к обидчикам <...>\*, но вне какого бы то ни было социального плана... К этому надо присоединить противоречия страстного Константин-Леонтьевского\*\* помещичьего (и крестьянского) быта и безумную жажду вольной мысли, вольной жизни, почему консерваторы и либералы считали меня одинаково чужим и одинаково не любили и старались раздавить меня! Ведь я был воплощенным обличением их идиотской, бездарной и бесчеловечной односторонности. И еще вот что! Ненавидя марксизм за его плоскую скучную прозу, за урбанизм, я всегда влекся к пролетарию, бесконечно поклонялся его труду и был всегда с ним против буржуа, которого ненавидел и ненавижу больше всего на свете. За это я ненавижу Маркса и Чернышевского — за то, что они, в сущности, революционные буржуа и хотят из пролетария сделать коллективного буржуа — безбожного, бездушного и бескрылого, выращивающего капусту <на пролитой ими крови>, — совсем как немецкие наци, от которых они ничем не отличаются, ибо они тоже такие же расисты, но только в плане социальном. Впрочем, даже и <в> национальном — ибо ненавидят Россию и русский народ, хотя вынуждены притворяться любящими.

И вот еще противоречие: я — Лель, антиурбанист, — люблю степь, поле, лес и в то же время всегда любил (особенно в России) запах машинного масла и каменного угля, обожал машину и сделал из покрытого копотью рабочего, машиниста, кочегара — настоящее божество и идеал. Пожалтием черной руки кочегара я больше гордился, чем поощрением профессора и артиста, и симпатия машиниста мне была так же дорога, как симпатия красивой девушки... Меня даже в гимназии товарищи, и не подозревавшие о раздирающих меня творческих противоречиях, прозвали «Ильин-Паровоз». Да и теперь я пишу философию техники с любовью и пониманием... как странно! И если я предпочитаю <решительно> безмолвие деревни — так это по той причине, что в шуме города я более всего улавливаю голоса поистине трансцендентной сверхпошлости торжествующего американизма. Нигде ни дела, ни пристанища.

Не обожай ничьей святыни  
Нигде приют себе не строй<sup>25</sup>.

Господи, какой ужас! Кто же я такой? Что меня ожидает и что со мной будет? Ведь мне давно уже пора петь со вниманием «приближается, душе, конец, приближается... время сокращается»... Мне очень хотелось начать эти строки словами Покаянного канона св. Андрея Критского: «Откуда начну плакать деяний окаянного моего жития, кое ли положу начало нынешнему рыданию?»

Но не в обычном, общепринятом смысле хочу я каяться... Нет, совсем по-другому... в том, что недостаточно пил из чаши сладости тогда, когда эта чаша подносилась к моим устам... Боже мой! Как часто и яростно отталкивается душа моя от привлекавшей меня аскезы ради сладости природной жизни, безумств эроса и ради книжно-познавательного гордынного неистовства. И всегда я был ни тут, ни там.

\* Пропуск в машинописи.

\*\* Так у автора.

Теперь, когда надо мною уродливая образина моей старой, глупой, злой и феноменально бездарной, феноменально самовлюбленной тещи, когда со мною жена моя, которую я жалею и по-христиански люблю, но несколько не влюблен и которую никак и ни к кому не ревную (а я безумный ревнивец), — теперь-то мне как раз и время вспоминать и готовиться\*.

Одно из первых воспоминаний — большая комната, слабо освещенная ночником маленькой лампочки с кру<ченным> фитильком и шарообразным молочным колпачком. Я лежу в детской кроватке известной формы, с решетками по бокам. В ногах стоит стройная красивая женщина, высокая, есть в ней что-то девичье. Она в серой жакетке и смотрит на меня пристально. Это моя мама — центр всех моих детских и юношеских воспоминаний. Ныне жив и находится в Париже ее единокровный брат, Владимир Федорович Сазанович, генерал от артиллерии царской армии<sup>26</sup>. Это мой единственный родственник, ему около 78 лет. Мне 52 — и у меня седая голова. Боже, как идет время!

Река времен в своем теченье  
Уносит все дела людей.  
Глагол времен, металла звон,  
Меня твой страшный глас смущает,  
Зовет, зовет меня твой стон,  
Зовет и к гробу приближает (Державин)<sup>27</sup>.

И в тоже время все эти детские образы словно при мне, словно я — и сейчас младенец. Нет чувства истории, последовательности, но лишь некое накопление, нарастание образов вокруг центральной фигуры матери. История в смысле последовательности во времени и внутренней связи событий начнется значительно позже — на пороге отроческого возраста, и то в очень смятом, разорванном виде массы параллельных и, так сказать, стоячих, фиксированных образов и событий. История чисто формальная, поскольку у меня есть представление о формальном течении времени и формальной хронологии календарного порядка. Быть может, эта личная история есть малый образ истории человечества?

Сумерки, полумрак «большой комнаты», слабая звездочка ночника, едва брезжащая искорка сознания и образ матери — в этом есть символ метафизики начала человеческого существования, той самой экзистенции, которую ныне философы ставят во главу угла мирозерцания. Страшного в этом выходе из небытия я не помню. Может, и были метафизические (и физические) ужасы, но они забыты, и, быть может, позднейшие кошмары, страхи и тяжкие переживания в житейском лесу, о котором говорит Данте, — это дошедшие слабые отзвуки забытых ужасов «начала», которые, как думает Фет, равны «ужасам конца» (в его «Ничтожестве» — «тебя не знал я»<sup>28</sup>). Все это тема германской метафизики, и, быть может, мое последующее влечение к ней есть стремление оформить мирозерцательно то, что дано физико-психо-биологически. Вместе с образом матери всплывает и

---

\* Слова «Теперь, когда... вспоминать и готовиться» вычеркнуты в машинописи неустановленным лицом.

тоска любви, тоска привязанности, очевидно, предвосхищение неминуемой утраты. И вот — матери нет, и остались лишь воспоминания.

Следующее воспоминание — мама лежит в постели с выражением страдания на лице, хотя всё такая же молоденькая и красивая. Она покрыта голубым одеялом с желтыми разводами. Тоже большая комната с окном, выходящим в сад. Возле постели сидит мужчина с темной бородой, которого зовут Федором Алексеевичем, и размешивает в большой белой аптекарской ступке что-то желтое, <очевидно> горчицу. Мама больна, Федор Алексеевич — фельдшер, говорят, очень хороший, добрый и интеллигентный, знающий свое дело лучше многих докторов. Страдающая мать — следующее яркое воспоминание детства и первая кровоточащая рана-язва, никогда не заживающая язва детского сердца. Это воспоминание незримыми узами поможет мне по существу проникнуть в тайну Богоматеринства, которое навсегда ляжет в основу моей религиозности. Наряду с этим у меня возникает стремление оградить святыню страдающей матери, и когда немного позже в каком-то журнале (кажется, в «Ниве»), который я перелистывал своими детскими пальчиками, я увидел рисунок «Мать и дитя» (кажется, Штука<sup>29</sup>), где, как мне показалось, младенец мучит свою, лежащую на одре болезни или смерти, мать, моментально моя душа приняла сторону матери, и я стал бить и ковырять фигурку злого младенца, даже (смутно помню) выколол ему булавкой или иголкой глаза. Это первая ревность о конкретной и притом высочайшей ценности и ненависть к «чужому», к «толпе». Моя дальнейшая ненависть к «классу», «пансиону», к толпе тесно связана с этим образом злого мальчишки, терзающим свою Мать. Этот злой младенец лег в основу моей метафизической ненависти к преступнику, вернее, к преступлению и, следовательно, к тому, что генерализирует, алгебраизирует преступление — к революции — к матере- и отцеубийству, к оплеванию и осквернению родного гнезда и рождающей утробы, в пределе — к ненависти к осквернителям Матери Божией и Божественного Младенца.

Третье основное воспоминание — сад. Он — в двух образах. Сад днем. Весна — дорожки сада, по которым меня ведет няня, все усеяны белыми лепестками цветущих яблонь, груш, черешен. Сад ночью за окнами. Я сижу на руках матери. На столе стакан чая, о который так мечтательно позванивает размешивающая его ложечка. За окном — последний отблеск догорающей вечерней зари. Низко склонился серебряный рожок молодого месяца. Чернеют тени деревьев, и вдалеке трещит трещотка сторожа. Там ходит «петух». Это наиболее музыкальное воспоминание. Здесь и Шуберт, и Шопен, и Чайковский (серенада «Ревери дю суар»<sup>30</sup> и Ноктюрн).

Вот и четвертое воспоминание — наиболее загадочное и жуткое. Это воспоминание о «*петухе*». Это нечто страшное, вполне бесовское и вполне противоположное тому материнскому и Богоматеринскому началу, в коленях которого я искал прибежища, подобно тому как Пер Гюнт искал прибежища в коленях Сольвейг от страшного Пуговичника и всех ужасов, его окружающих. Впрочем, еще лучше и вернее сказать, что это подобно тому страшному и черному, что окружало Лермонтова и противостояло его ангелизму.

Вот ночь, опять та же комната, освещенная ночником в молочном колпаке. Я сплю рядом с мамой. Просыпаюсь среди ночи. Мне страшно. Мой взор прикован

к органчику («шарманке»), стоящему на табурете у двери. Под этой шарманкой лежит свернувшись чудовищно огромная птица — курица или петух. Но вот я уже не в кровати, возле мамы, а на полу — и страшная птица в свернутом состоянии как-то подкатывает ко мне. Я не могу ни пошевелиться, ни крикнуть. Но вот я опять лежу в кровати, смотрю себе в ноги и вижу огромного петуха в полчеловеческого роста, неподвижно уставившегося на меня своими глазами. Тут я стал вопить: «Петух, петух», — разбудил мать, которая меня взяла к себе. Всю ночь я не мог успокоиться, как не успокоился и утром. Меня повели в кухню, показали остатки петуха, какие-то куриные или цыплячи головки, сказали, что петух давно варится в кастрюле (впрочем, это была курица) — это не помогло. И с тех пор до юношеского возраста «петух» или вообще в этом роде птица стала главным содержанием моих кошмаров. Либо эта птица стояла возле моей постели, или я с ужасом ожидал ее прихода в слабо освещенной комнате из соседней темной раскрытой двери, откуда уже раздавался характерный стук ее когтей. Впоследствии были и видения бесов. Но и ангелов я видел, и святых, <блаженствовал>, и это у меня соединилось впоследствии с Лермонтовым, которого я полюбил очень рано — около 7–8 лет.

Что это такое? По всей вероятности символика борьбы светлых и темных духов вокруг меня и за меня, за мою душу.

Наконец, пятое существенное воспоминание детства — это машина, предмет моего восхищения и ужаса — и то, в образе чего в мир сейчас вошла эта ужасная вторая война 1939 г.<sup>31</sup>

Воспоминание о машине связано с винокуренным заводом во Владовке, с соединенной с ним паровой мельницей и с сельскохозяйственными машинами, в частности, с конной веялкой, около которой я помню хорошеньких хохлушек, моргавших мне своими черными бровями. Впоследствии некий Витольд Бенько, служащий в имении дедушки, сделал мне очень удачную модель веялки, с которой я чрезвычайно любил забавляться. Совсем особое настроение грозной и послушной мощи навевала на меня горизонтальная паровая машина, возле которой я, как теперь, вижу седую фигуру машиниста немца Шульца, который ее смазывает. Приводный пас был не ременный, но пеньковый, серый с фиолетовыми полосами. Помню я также старой системы заторный чан, очень широкий, для охлаждения простым испарением и где мешалка приводилась в движение лошадьё. Помню и темный винный подвал с <характерным> сивушным запахом неочищенного спирта-сырца (88 гр<адусов>), хранившегося в прямоугольных цистернах. Помню, как я с мамой сто<ял> возле сложной рядовой сеялки. Мне дали в мою крошечную ручку горсть жита, я бросил его на вспаханное и взбороненное поле, начав этим сеянье. После этого лошади пошли, потащив сеялку, с журчаньем разбрасывавшую зерна. Мама пошла за сеялкой, а я остался с няней. Ходьба по полю была признана для меня, очевидно, невозможной. Мою няню звали Ликерой (Гликерия). Это была 17-летняя хорошенькая хохлушка. Как теперь помню ее коричневый платок. Я ее очень любил! Но детская эротика, пробудившаяся во мне чрезвычайно рано (все эти воспоминания относятся к годам 1–2, ибо из Владовки мы уехали, когда мне было около 3-х лет, не больше). Сладость бытия у меня с первых же этапов сознания связана со сладостью женской плоти. И это начало моей биографии, которую я хотел бы назвать вместе с Абеяром «<Historia

calamitatum» — историей бедствий<sup>32</sup>. Некая коллективная Элоиза <с самого начала> стала моим тяжким роком, моей черной звездой.

Кстати, от своего дяди (Володи<sup>33</sup>) я узнал, что немец Шульц был не машинист, но винокур. Машинист же был поляк Зигмунд, впоследствии занявший ту же должность в имении Ивань Слуцкого уезда Минской губернии, куда переехали мои деды (Надежда Петровна и Николай Петрович Чаплины) после продажи Владовки. Вечно женственное я всегда переживал как вечно девичье. А женственное отождествлялось для меня с материнской любовью и ее защищающей силой. Эротика исходила из девичьего; защищающая, ограждающая сила — от женственно-материнского. Вот почему я должен сказать, что не только траурная звезда рока, но и светлое солнечное начало, и лоно благодатной утробной ночи соединились для меня с девичье-женским, неслиянным и нераздельным двуединством. Вот еще воспоминание — тоненькая стройная молодая швея Ольга Гавриловна (фамилии не помню). Она сидит за швейной машиной и поет для меня «Отче наш». Ярko запечатлелись в моей памяти ее красная кофточка и ее черные волосы и напев «Молитвы Господней». О вечно молодое, о вечно эротическое начало «Песни Песней» в Ветхом Завете, как ты мне близко и понятно! И я верю и надеюсь, что в жизни будущего века эта сладчайшая райская эротика будет нам возвращена вместе с древом жизни, «двенадцатый раз в год приносящим плоды»<sup>34</sup>.

Ведь это прах святой затихшего страданья!  
Ведь это милые почившие сердца!  
Ведь это страстные, блаженные рыданья!  
Ведь это тернии колючего венца!<sup>35</sup>

И если память абсолютна (и только воспоминание дефективно), если память есть сопребывание, онтологическая связь с ее объектом, то ничто не погибнет, но всё воскреснет, преобразится и будет вечно исходить из силы в силу, чтобы приять увенчание Божественной красоты и славы. Как это будет — не знаем, но это будет. «Не уявися, что будет!..»<sup>36</sup>

Самое тягостное в моих <recheres du temps perdu><sup>37</sup> — это отрывочность, фрагментность картин воспоминаний — отдельные слова, фразы и даже отрывки слов, по которым трудно, а иногда невозможно составить связную картину жизни души, ее разворачивание во времени. А между тем для меня несомненно, что каждая душа имеет свою «Акаша-хронику»<sup>38</sup>, входящую интегрально в мировую «Акаша-хронику» по принципу равенства микрокосмоса и макрокосмоса. Как я понимаю этот ад тщетного воспоминания, который с такой силой передал Гоголь в своем бездонно глубоком «Вечере накануне Ивана Купала». Надо мириться со своими немощами — одна из форм добродетели смирения — и, не мудрствуя лукаво, записывать все картины и сопутствующие им мысли. О если бы найти путь софиологии времени!

Продолговатая столовая. Всё это еще Владовка — т. е. не позже второго года. В этой столовой стоит желто полированный шкаф со сладостями — заветная мечта каждого младенца и первая объективация его чувственности, как бы безгрешной. В шкафу конфеты, которые я на своем детском языке называл «квеньки», и также



рахат-лукум и халва — два лакомства, к которым я так же, как к женским ногам, сохранил влечение и по сей день, т. е. по сей день с ограничением, ибо теперь, когда мне почти 53-й год, духовный императив аскетике и тщета чувственности всё настойчивее стучатся в мою дверь. В этой столовой я почему-то помню низенькую фигуру чиновника в форме, которого зовут Мейером, имя, ныне ставшее для меня предметом отвращения и глубокого презрения, а теперь скорее приятное\*. Этот Мейер меня любил держать на руках, а я почему-то обращал внимание на толстый и черный ноготь его мизинца, очевидно, искалеченного или природно-уродливого. Помню, как меня во время чаепития, когда стаканы и чашки были наполнены кипящим чаем, передавали через стол и нечаянно погрузили одной ногой в <дымящуюся> жидкость. Боли я не помню, но хорошо помню запах прованского масла, продолговатую бутылку, где оно блестело янтарем, и тряпочки, смоченные прованским маслом, которые прикладывали к моей обожженной ноге. Вообще, я заметил, что первичные ощущения, т. е. запахи, цвета и проч<ее>, врезаются в память гораздо сильнее, чем сопутствующие им чувственные тона. Исключения составляют только высшие чувства и половое «либидо», воспоминания о котором у меня сохранились с исключительной яркостью. Помню качалку, на которой любил сидеть и покачиваться дедушка Николай Петрович. Помню его кабинет, где на письменном столе стояла пепельница оригинальной формы: это был продольный разрез шрапнельного снаряда, не то 3-х-дюймо<во>го, не то 4-х-дюймо<во>го, утвержденного вместо ножек на 4 шрапнельных же пулях. Помню черно-синий «Смит и Вессон» — страшный револьвер, из которого застрелились мой отец и Сергей Николаевич (Силя), младший сын моего дедушки, т. е. мой младший дядя. Кажется, еще кто-то застрелился из этого револьвера. Впоследствии он сторел, уже в имении моей матери (хуторе Россоховский<sup>39</sup>), откуда я начал свой скитальческий путь. Помню и неизбежный в каждом помещицьем доме металлический барометр, вторую контрольную стрелку, которую я так любил вертеть. Вообще занимательно это наслаждение, которое получают дети от вращения стрелки. Я помню себя стоящим и вертящим стрелки подаренных мне игрушечных карманных часов, помню и наслаждение от этого вращения. В чем тут дело? И почему еще на пороге гимназического возраста я также остро наслаждался часами и стрелками. Слабый оттенок этого наслаждения сохранился и теперь.

Помню, как девки цедили в прохладном погребе молоко, которое слабо хлопнуло и произвело звук, похожий на «блэк», отсюда и наименование на моем детском языке молока — «блэк». Помню паука-крестовика, ползающего на земляном полу погреба. Паук был раздавлен одной из девок.

Помню еще одно событие, легшее впоследствии темной тенью на всю мою молодость. Это был вечер. Я гулял со своей нянькой у ворот в усадьбу. Въезжала коляска, и в ней сидел человек с усами и в пыльнике. Раздался кругом шепот: новый управляющий едет. Это был Нарцисс Аницетович Дубинский, польский дворянин, мой будущий отчим и враг. Но враг не только по его вине, но и по моим грехам.

---

\* Слова «имя, ныне... приятное» вычеркнуты неустановленным лицом.

Из воспоминаний «владовского периода» помню поездку в Искорость (или Коростень) к Ланчковским. Следователь Ланчковский — бородатый мужчина с животом, большой гастроном, как потом выяснилось, привез моего отца в дом к родителям моей матери (т. е. к моим дедам) и был таким образом косвенным виновником моего появления на свет. Если он умер — упокой, Господи, его душу. Помню, как его мать, седая старушка, подносила мне хрустальную вазу с конфетами. Помню водопады «Ольгиных купаний»; река Уж (или Уша), протекающая в этом месте, чрезвычайно живописном, проходит через скалы и пороги. Помню, как я, мама и бабушка сидели на крыльце дома Ланчковских. Мама в амазонке слегка ударяет меня стеклом по голым икрам. Я вскрикиваю, и бабушка ударяет маму по плечу и говорит: «Да перестань же ты, Вера», — я бросаюсь на бабушку с криком: «Не смей бить маму». Бабушка с удивлением и со смехом: «<Ишь> ты, я за него заступаюсь, а он на меня с кулаками». Это объясняется тем, что какая бы то ни была обида по отношению к матери, какое бы то ни было причинение ей боли или страданий — хотя бы самых малых, — было для меня совершенно невыносимым. Отсюда, повторяю, мое отвращение к «товарищам», к коллективу молодежи, в котором я всегда чувствовал открытую или скрытую хулу на святыню материнства, под предлогом дурацкого «квази» молодечества Васьки Буслаева<sup>40</sup> — этого предтечи большевизма.

Предмет и вещь играют вслед за <Emotionaldenken> очень важную роль в моих переживаниях и воспоминаниях. <Person, Sache, Emotionaldenken<sup>41</sup>> — вот три кита моих воспоминаний и моей нынешней жизни. Это содержание книги моего бытия.

Я вижу на окнах владовского дома ягоды т<ак> наз<ываемой> «жидовской вишни», ягоды, словно завернутые в папиросную бумагу. Вижу и низкий зеленый куст этой «жидовской вишни». Помню поездку поздней весной среди роскоши майского леса. Под одним из деревьев мы увидели ландыши. Экипаж остановился, и мама стала собирать ландыши. Какая грация в молодой девичьей фигуре моей матери, склонившейся над ландышами. Моя мама была высокая, стройная и очень долго моложавая. Лишь под конец, под гнетом внешних и внутренних ужасов, она стала быстро стареть и вянуть.

Вот еще поездка. Кусты — река — брод. Выше — плотина и водяная мельница. Река, вода, сумерки и мелодичный усыпляющий звук колокольчика. Лошади медленно хлюпают по воде. Поездка к некоему Григораму. Большие часы в его столовой и красные козьяки в его саду.

А вот еще — барон Дауэ — высокий, жилистый, худой и краснолицый привез мне шоколадные папиросы и сахарные спички. По сей день питаю я слабость к этим лакомствам. Вот еще Владовская черточка. Я стою возле умывальника, а в стакане розовая жидкость — марганцовокислый калий, черные зернышки которого на дне дают пурпуровые облачки, размешиваемые зубной щеткой. Вот еще — большая комната, где красят пасхальные яйца, и весь пол закапан разноцветными пятнышками. Есть у меня еще воспоминание, как я у умывальника обделался, и еще одно такое же воспоминание — дорожное. Помню, что с меня сняли белье и мыли.

Далее — переезд из Владовки Киевской губернии Радомысльского уезда в Ивань (Минской губернии Слуцкого уезда). Это первое знакомство с железной дорогой, специфическая поэзия и эстетика которой сделались одним из важнейших элементов моего <Emotionaldenken>. Долго думали, что я буду инженером-машиностроителем. Вот я бегу по вагону. В купе сидят офицеры и с улыбкой смотрят на меня. Станция днем. Часы. Много народу, куча вещей. Станция ночью. Стоим на платформе. Подкатывает поезд очень быстро и быстро останавливается. Из-под вагонов раздается шипение оттормаживания. Поезд мчится ночью. Мелькают ночные пейзажи, и огненной метелью всё засыпано искрами.

И серебром облиты лунным,  
Деревья мимо нас летят,  
Под нами с грохотом чугунным  
Мосты мгновенные гремят<sup>42</sup>.

На одной из станций вижу паровой котел поезда, вокруг которого ходит смазывающий его помощник машиниста. Помню красные вагоны встречного товарного поезда и вагоны платформы, на которой стояли люди, обливаясь дождем. А ведь мне тогда было между двумя и тремя годами. Удивительно! Обстановка и вещный мир в Ивань становятся ярче и определеннее, хотя исторической последовательности во времени еще нет, и события носят всё такой же фрагментарный характер, как и во Владовке. Можно сказать, что место — ярко и определенно. Время — бесвязно и фрагментарно. Вещи — тверды. События, за редким исключением, — жидки, текут и неопределенны. Фокус сознания как-то странно перепрыгивает с одного события воспоминания на другое, но чувство единства личности остается непоколеблемым этими зияющими провалами. Наоборот! С первых же владовских воспоминаний и до настоящего времени у меня определенное чувство единой безвозрастной души.

Ах, да, надо возвратиться назад. Среди дорожных воспоминаний — яркая картина моего дорогого мистически возлюбленного Киева. Самое главное — это ощущение города св. Владимира, и эта внутренняя «картина» непередаваема так же, как и все внутренние переживания Малороссии–«Украины». Такие переживания, что Россия в ее мистико-онтологическом существе — это именно «она», и сердце ее — Киев. Да, мистико-онтологическое сердце России есть Киев. В этом смысле я, конечно, украинец, но в гоголевском смысле. Я всегда тосковал по Малороссии и по ее языку. Звуки ее песен, разработанные, правда, в российско-имперском масштабе на великорусский манер, по типу Глинки, «Кучки»<sup>43</sup> и Чайковского, есть основа моего музыкального творчества. Отсюда мой шуманизм, ибо Шуман для нас, русских, не менее родное явление, чем для немцев<sup>44</sup>. Стоит только вспомнить <fis-moll> или первую сонату<sup>45</sup> <...>\*

Мне говорили бабушка и мама, что в Киеве я становился на колени перед каждой церковью, крестился и клал земные поклоны — в грязь и в чем был, в нарядном белом костюмчике из гагачьего пуха, стоившего больших денег. Помню,

---

\* Пропуск в машинописи.

что меня куда-то вели, на какие-то этажи, помню розовые стены проходов, крики рабочих, специфические стуки мастеров и по контрасту — строгое молчание докторского кабинета, молчаливую фигуру доктора — bruneta в военной форме, помню часы на его письменном столе. Кажется, это был профессор Лисицын, прописавший мне необычайно приятную ароматическую мазь (с перувианским бальзамом), которую у нас так и прозвали «лисицынской мазью». Она исцелила меня от струпьев на голове. Мама говорила, что у меня в раннем детстве было гнойное истечение из уха и струпья на голове. Возможно, что причиной этому были: 1) ужасающее мясоястие и винопитие, вообще типично малорусское помещицье обжорство всей семьи и отца, человека чувственного (и одновременно страстно религиозного и духовно живого), в особенности, 2) чрезмерное раскармливание мясом и сладостями меня самого.

В Киеве помню его холмы, грозу и потоки дождевой воды, стекавшей по склонам улиц, и удары грома. Помню фейерверки за Днепром и дождь разноцветных искр. Помню даже фейерверочные установки (у нас в семье очень любили детские фейерверки, и два моих дяди — Володя и Коля <, оба военные> — даже очень поплатились). Я сам впоследствии делал бенгальские огни и пускал ракеты, правда, без вреда для себя. Помню поездку по Днепру (по всей вероятности, через Днепр) на пароходике. Помню специфический запах масла от паровой машины и машиниста, ухаживающего за своим прибором.

Все эти воспоминания и первая часть воспоминаний, касающаяся Ивани (Минской губернии Слуцкого уезда), относятся к эпохе Александра III, к которому вполне применимы слова (кажется, Сиэнса<sup>46</sup> или Талейрана<sup>47</sup>): <«Ce lui qui n'a pas vécu dans l'ancien regim ne sait pas ce que c'est la douceur de vivre»><sup>48</sup>. Мое раннее детство захватило последний период Фета, Чайковского, Влад. Соловьева. Все три трагичны — каждый по-своему, и все три немислимы вне дворянско-помещицкого быта. Повторилась трагедия внутрирайского падения. Кстати, имя Ивань — это прежде всего изумительный грандиозный липовый парк, единственный в своем роде. И когда я впервые познакомился с историей рая и грехопадения прародителей, то не мог не переживать рая в виде грандиозно увеличенного липового парка Ивани. Тем более что с этим периодом у меня начинается и интенсивнейшая религиозная жизнь, стимулируемая окружающей обстановкой, наследственностью и специфической немецкой мистикой моей крестной матери Матильды Герке, а более всего, конечно, — бездонными тайниками собственной души. И еще возвращаюсь назад для воспоминания, весьма трудно передаваемого. Помню, что в девичьей девицы лукаво обнажались передо мною. Интимные части женщины, которые вообще не надо видеть, ибо это ночная часть нашего существа, до сих пор ярко стоят передо мною во всей их неизъяснимой таинственности. Они навсегда стали для меня предметом ужаса, трепета и несказанного сладостно благоговейного тяготения. Благоговение — от материнства. Тяготение — от девичества. Я никогда не мог постигнуть фривольного легкомыслия и развратно-<...>\* отношения к этому корню нашей психобиологии и переживал всегда такое отношение как кощунство и мерзость. Необычайный трепет, своего рода <misterium tremendum<sup>49</sup>>, <благого-

\* Пропуск в машинописи.

вение> сделали для меня доступ к этой <твердыне> чрезвычайно трудным. Препятствие оказалось во мне самом. Во мне соединились безумная страстность и величайшее благоговение. Результат мог быть один: меня не поняли и не сочли своим ни девственники, ни развратники. Я здесь оказался одиноким, как всюду и даже более чем где бы то ни было. Отсюда неопишное страдание в течение всей жизни: меня не поняли и женщины, которые, увы, лишь очень редко понимают и берегут свой эротический алтарь. Какой ужас!

Свет из тьмы!  
Вознестися не могли бы  
Лики роз твоих,  
Если б в сумрачное лоно  
Не впивался погруженный  
Темный корень их<sup>50</sup>.

Очевидно, нечто подобное было и в натуре Вл. Соловьева. Но я также понимаю В.В. Розанова, объединяя в себе тайну обоих в их восприятии пола и эротики. Какой ужас!

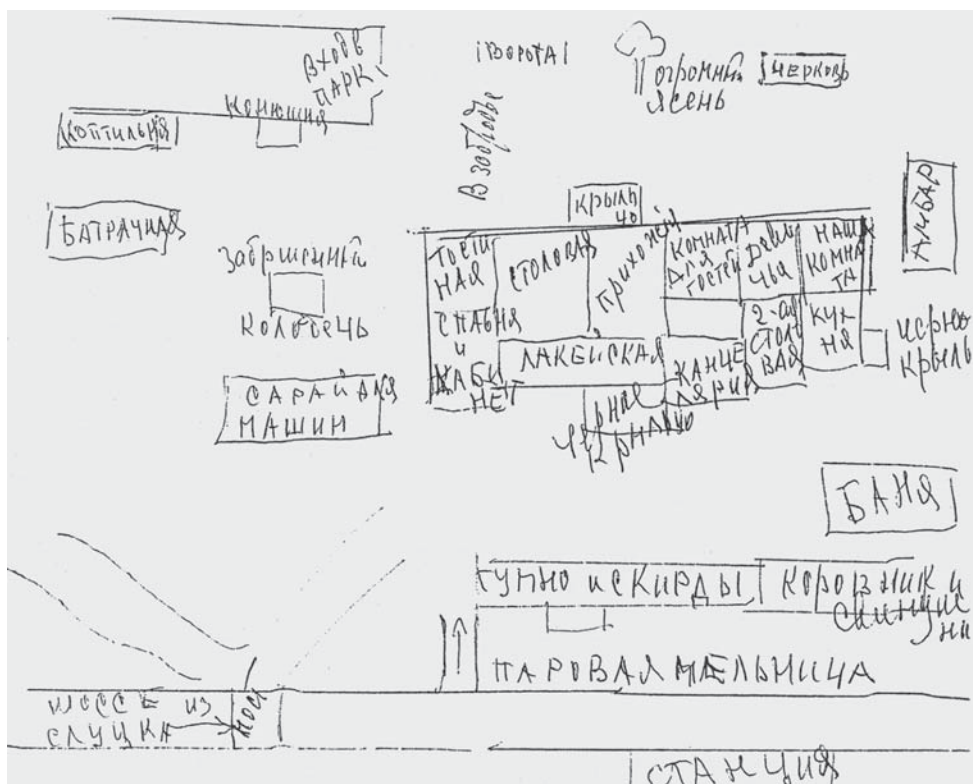
Поздний вечер. Владовка. Темная комната, куда из соседней вливаются лучи света в полуоткрытую дверь, там зажжена лампа. На диване полулежит одна из девиц, должно быть, очень молодая, ибо тоненькая. Я люблю ее ногами и держу одну из них в руках. Ярко помню, как огонь пронзил меня, когда я вдруг поцеловал эту ногу к величайшему смущению девицы.

Звездное небо и мировое пространство я всегда воспринимал ангельски сладостно, и ужас бесконечных пространств, леденивший душу Паскаля и Тютчева, стал проникать в меня лишь теперь, да и то из вторых, т<ак> ск<азать>, рук. Звезды я всегда переживал как ангельски-богородичную символику, и это переживание вполне аутентично. Поэтому просветитель<ск>ая астрономия с ее адом <дурной бесконечности> меня всегда раздражала. Я был и остался прирожденным космофизиологом. Просветительской астрономией и идиотской идеей бесчислен<ых> населенных миров я любил лишь дразнить ханжей.

Итак, я в имении моих дедов, называемом Ивань. Это в шести верстах к западу от уездного города Слуцка Минской губернии, очень известного в истории России, собственно в истории литовско-русского государства, шесть верст к западу от Слуцка по шоссе, идущему из Бреста в Москву. Ближайшие железнодорожные станции на запад — Ляховичи, Полесск<sup>51</sup> (около 80 верст по шоссе); старые дороги на восток — подъездной ширококолейный путь к большой станции Осиповичи Либаво-Роменской железной дороги. Это <около> 50 верст. Дальность железнодорожной станции не мешала быть этому своеобразному уголку очень культурным. Конечно, культура эта провинциальная. Но Шпенглер отлично показал, что подлинной культуре надлежит быть именно провинциальной. То, что обыкновенно считают культурой, есть лишь интернациональная цивилизация.

Между Иванью и Слуцком находилось еще имение Испаски, в котором мои деды никогда не жили, но лишь сдавали его в аренду. Помню еще деревушку Ваньковщизну недалеко от Ивани и деревушку Забродье с именем того же названия,

<в трех верстах от Ивани,> где жили Коваленковы — мои дядя и тетя, т. е. родной была тетя Надежда Федоровна, а ее муж, большой чудак, не лишенный ума и культуры, — Димитрий Иванович (дядя Митя) был мне чужой. В верстах 20-ти к западу впоследствии было еще куплено имение — Докторовичи. Воспоминания местно-зрительного характера становятся чрезвычайно яркими. Не менее ярки и вещно-чувственные воспоминания, хотя события, как я уже говорил, остаются отрывочными. Отрывков, конечно, гораздо более, и они по мере накопления лет всё более и более умножаются. Чтобы попасть в Ивань со стороны Слуцка, надо было миновать домик дорожного мастера и переехать по шоссе очень культурно сделанный мост через речонку, где немного далее мы купались\* и где была сооружена купальня. Интересно, что поэтический домик дорожного мастера всегда почему-то связывался в моем воображении с «Рондо а ля тюрка» Моцарта (из сонаты А-дюр)<sup>52</sup>. Из окна этого домика иногда выглядывало милостивое личико. Не доезжая до желтого станционного дома типично николаевской казенной архитектуры великодержавно-ампирного стиля, надо было свернуть с шоссе налево и проехать мягким проселком меньше версты, открывались ворота, и мы въезжали в Иваньскую усадьбу овальной формы\*\*.



\* Так у автора.

\*\* Рисунок воспроизводится по машинописи, далее текст публикуется по автографу.

Я так долго останавливаюсь и буду останавливаться на старом русском дворянском помещичьем быте (со всем его окружением российского великодержавия), что за ним огромные, поистине не исчислимые культурно-духовные заслуги, несмотря на все его грехи (кто без греха?). Кроме того, мне пришлось на личном горьком опыте пережить все ужасы деклассирования, не только за границей, но уже в самой России — по причине моего положения пария в собственной семье и презрения к моим талантам, которые, конечно, не мои, но Божии — об этом Евангелия от Матфея, Марка и Луки говорят нам прямо — и без обиняков. Сам я, да и каждый из нас по себе\* — нуль. Итак, возвращаюсь к Ивани. Пройдя парк вдоль и миновав луг, попадаем в винокуренный завод с примыкающей к нему паровой мельницей, — оба приводились в движение общей паровой машиной в 70 сил с усовершенствованной отсечкой пара и автоматической смазкой. Системы не помню. К заводу и мельнице примыкали соответствующие службы, квартиры и проч<ие> здания, напр<имер>, спиртовой подвал, склады зерна, муки и проч<ее>. Так что получилось что-то вроде фабричного городка. Все было поставлено на очень культурную ногу, хотя нравы были полупатриархальные, даже с некоторым оттенком библеизма.

В противоположном направлении от парка и уже за воротами усадьбы, поворота направо, была церковь, огнем горевшая в моей отроческой душе. Этот огонь уже более никогда не погасал. Церковь топографически примыкала к усадьбе, но была вне ее черты и была вполне самостоятельна. Отец Рождественский, постоянно у нас бывавший, был предметом всеобщего почитания, ему все целовали руку. Страх Божий перед благодатью иерейства был прочно вкоренен моей бабкой Надеждой Петровной Чаплиной в моем сердце. Он тоже остался навсегда. Батюшка был как батюшка. Зато его сын, гимназист высших классов (помню его разговоры о физике), был типичный жирондист или эсер. Дочь Нина — типичная мелкобуржуазная барышня. Парк имел отношение к церкви. В одном из его укромных уголков была устроена крестовидная и огражденная полисадом клумба: на этом месте застрелился дядя Силя (Сергей Николаевич Чаплин), отпелся в местной церкви. Это было первое и решительное вторжение трагического начала в мой детский рай, символизировавшийся этим изумительным парком, состоявшим из огромных тоннелей пригнувшихся друг к другу многолетних лип. В промежутках между тоннелями лип были фруктовые и ягодные посадки, а также пасека, где хозяйничал, и кажется, не совсем удачно, эконом имения некий Дудковский (обрусевший поляк).

В Ивани впервые четко вырисовались образы многих людей, близких и отдаленных — так или иначе определивших мой жизненный путь и определившихся, вырисовавшихся на этом пути. Это мама моя — Вера Николаевна Ильина, урожденная Чаплина, деды мои — Николай Петрович Чаплин и Надежда Петровна Чаплина, урожденная баронесса Меллер-Закомельская — дочь адмирала<sup>53</sup>. Дяди: Владимир Федорович Сазонович — сын бабушки от первого мужа (дядя Володя), Константин Николаевич Чаплин (дядя Костя), Николай Николаевич Чаплин (дядя Коля), Сергей Николаевич Чаплин (дядя Силя). Следуют тети: Александра

---

\* Так у автора.

Николаевна Стахурская (впоследствии Крейтер) (тетя Шура), Надежда Николаевна Коваленкова (замужем за Дмитрием Ивановичем Коваленковым), София Николаевна Персиянова (замужем за Александром Александровичем Персияновым, дядей Сашей — стопроцентным пошляком и дрянью), тетя Катя (жена дяди Коли), тетя Валя (жена дяди Кости). Из кузенов следует отметить: Жоржа, Лёлю (Александра), Мику (Митрофана) и Женю — детей Коваленковых. Из трех детей дяди Коли и тети Кати помню Лилю, а имена кузенов забыл. Из детей тети Шуры помню кузину Фаню (Фаину) и Володю Крейтера (ныне не то полковник, не то генерал в Сербии и сделавший себе карьеру у немцев<sup>54</sup>). Да еще из детей тети Шуры от первого брака со Стахурским (полковником кавалерии) помню Сергея Сергеевича (Силу) Стахурского, тогда готовившегося к конкурсному экзамену в какое-то высшее техническое учебное заведение. В Ивани определилась крестная мать — прусская подданная Матильда Ивановна Герке. В Ивани я получил французскую гувернантку Жозефину (фамилии не помню).

Из неродных, но ставших родственниками, в Ивани определились: Нарцисс (Наркис по-русски) Аницетович (Аникетович по-русски) Дубинский, его жена Мальвина Францевна и сын их Александр Нарциссович Дубинский (Саша). Кроме того, надо еще назвать Михаила Михайловича Ивановского, директора Слуцкой гимназии, ставшего моим первым отчимом (Дубинский стал вторым отчимом). Назову еще докторов, ездивших из Слуцка: Шильдкрета (очень хороший человек), Францкевича (святой человек), Бильдзюкевича (неважного, хотя и талантливого человека). Прочих назову попутно, особенно после переезда из Ивани в Слуцк и поездок на каникулы, уже не в Ивань, а в Докторовичи — имение, купленное дедушкой после Ивани, в том же Слуцком уезде, возле местечек Романово и Копыль.

Помню, что когда в Ивани собирались на 17 сентября (день святых Веры, Надежды, Любви и Софии), на Новый год, на Пасху, на 9 мая (именины дедушки), то за столом скоплялось подчас 22 человека родных или близких.

Стол и еда с их философией займут в моих воспоминаниях очень важную роль\*, ибо это не только Пасха, но и преддверие Голгофы. Много радостного, но много и невообразимо жуткого, трагического связано у меня с застольными воспоминаниями. Большинство семейных катастроф и мучительных скверных анекдотов произошли за столом, и эти застольные страдания так удивительно и печально контрастируют с обилием и превосходным приготовлением яств. Это словно анаморфоз<sup>55</sup> Тайной Вечери Господа, где сладости Евхаристии и прощальные слова Спасителя контрастируют с предательством Иуды и ужасом грядущей Голгофы. Вообще трагедию мира и каждого отдельного человека, как бы он мал и ничтожен ни был, — всё принял на себя уничиженный Бог. И это есть уже спасение, ибо то, что казалось ужасающей бессмыслицей — приобретает полновесный смысл, — вроде того, как бесконечно большой коэффициент превращает в бесконечность очень малую (но не бесконечно убывающую) величину. Хотя, правда, здесь как с точки зрения математики, так и с точки зрения аксиологии очень и очень много трудной проблематики. Эта проблематика сводится, в общем, к вопросу: каково отношение (аксио-математико-логическое) произведения бес-

\* Так у автора.



конечно большого коэффициента на бесконечно убывающую и становящуюся меньше всякой данной величины как к этому коэффициенту, так и к бесконечно убывающему сомножителю?

Ивань, как место первого обучения грамоте и счету, незаметно сливается со Слуцком — местом, где пройдены первые три класса гимназии и пережито, с отрицательной оценкой в итоге, ощущение школьного товарищества или, если угодно, школьного социализма — миниатюрного преддверия настоящего социализма, этой жестокой и страшной трагической темы человеческих многоединств — особенно в XIX и XX веках. С отвращением воспринимая школьный социализм, особенно в его «красной части спектра», я внимал с ужасом внутреннему голосу, говорившему мне: социализм — это школа или пансион навеки. А так как равенство идет по худшему, то социализм я воспринимал как вечную колонию <для> малолетних преступников. Это тема Достоевского, сочетавшего ужасы «Мертвого дома» с мерзостями «Бесов». Правда, национал-социализму и фашизму здесь удалось сказать новое слово, и здесь причина, почему я с первого же момента резко примкнул к Муссолини и Гитлеру, которых я считал (да и теперь считаю) антитезой (даже в Гегелевском смысле) красному социализму (= коммунизму). И конечно, не тихому и кроткому «Дворянскому гнезду» дано было бороться с железным зверем красного социализма, представители которого с такой удивительной слепотой и карикатурным прекрасодушием были отнесены к «погибающим за великое дело любви»<sup>56</sup>. Хотя на деле это были губители за страшные дни ненависти и не угнетенные, а угнетатели, и не освободители, а закрепостители.

Жертвой, конечно, оказалось «Дворянское гнездо» и его великая культура. Я последний представитель, последний птенец «Дворянского гнезда», понял это очень рано, и в моей душе загорелось пламя священной мести, ринуться в бой в единственном числе против несметной своры, предводимой очень часто своими же лжебратьями-ренегатами. Конечно, я оказался в роли Дон Кихота, но не праведного, а грешного. И был заранее обречен.

И гибну, принц, в чужом краю  
Отравленным клинком заколот<sup>57</sup>.

Да, я Гамлет и Дон Кихот «Дворянского гнезда» и царской России. И то ужасно, что менее всего я понят сплошь выродившимися, отгородившимися, утратившими и знание, и культуру представителями дворянско-помещичьей России — подобно тому как Константин Леонтьев нашел оценку не «справа», а скорее «слева» — его поняли Вл. Соловьев, Бердяев, прихотливо-капризный гений Розанова (нисколько не «правый», несмотря на «нововременство»<sup>58</sup>) — но буквально никто «справа». Так и я. Аудитория у меня была или нейтральная, или «левая», но никогда не «правая», где я в ответ на мои гимны слышал только «лай, рев и визг» стада бесов и хамов «справа». Это ли не трагедия? Да, вот «Attalea princeps» Гаршина<sup>59</sup>.

Трагедия есть смысл, и смысл есть трагедия, ибо нет смысла вне темы свободы (resp<ectiv><sup>60</sup> рок) и креста (по ту сторону свободы и рока). И в этом смысл моих воспоминаний, моей «Истории бедствий» (Historia calamitatum) нового Абеяра.

Кроме того, я хочу быть честным и поставить вопрос о, т<ак> ск<азать>, втором грехопадении, т. е. о том грехе, что изгнал из «Дворянского гнезда» его насельников. Ибо грех был, и я не хочу лукавить перед лицом Царя Царей. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!<sup>61</sup> По грехам нашим изгнал Ты, Господи, из наших гнезд и рассеял, обратив в посмешище. И прости нам наш ропот, наше неизменение, наше нежелание увидеть свои язвы и сказать от чистого сердца: «Восмердиша и согниша рана моя от лица безумия моего!»<sup>62</sup>

Оставляю «левым» и «правым» их ужасное и погибельное самоупоение своей «правотой» и своей «безгрешностью». Конечно, Дон Кихот — жалкая пародия на святого и прежде всего на подвигоположника святости. Это все та же тема «анаморфозы». Но есть возможность «цилиндрическими» или «коническими» зеркалами превратить анаморфозу в правильный рисунок. Это «зеркало покаяния». Да будут мои страдания и моя летопись страданий такими «цилиндрическими» и «коническими» зеркалами, и да превратится силою Креста Господня анаморфоза моей жизни и дворянско-помещичьей России в славный и честный вид для одесного стояния.

Всё более и более, в процессе писания этих строк выясняется для меня, что их смысл — сильное раскрытие тайны рая и трагедии изгнания из него, т. е. трагедия «роста», выхода из младенческого состояния и искание путей из райского сада в райский град, т. е. искание путей из благословенного младенчества в благословенное мужество. Ну, а старчество? Старчества в одиозном смысле слова вообще не должно быть. И поклонение старику — это есть грех скопчества (негатив хлыстовства, т. е. <1 сл. нрзб.>), грех смертобожничества. И еще вот какова цель этого писания: раскрыть правду эмоционального мышления, эмоциональной активности с ее срывами и грехами. И в связи с этим — тайна Дон Жуана, т. к. я сорвавшийся и погибший Дон Жуан. И еще тайна человеческого «неудачничества».

Да, я остановился в своих воспоминаниях на «трагедии стола».

Где стол был яств — там гроб стоит  
Где пиршеств раздавались клики,  
Надгробные там воют лики<sup>63</sup>.

Вот я вижу себя, 6-тилетнего мальчика, в гостиной стол, наш большой стол, и на нем черная фигура застрелившегося дяди Сили (Сергея) в гимназической куртке. Потом <...> я вижу себя уже в мамином будуаре, в Слуцке, над раскрытой шкатулкой, где хранится вырез из гимназической куртки дяди Сили, пробитый самоубийственной пулей. С наружной стороны — отверстие с рваными обожженными краями и струйка засохшей крови. Изнутри всё в крови, в засохших запекшихся сгустках. В этой же шкатулке и свеча, которая была вставлена в его мертвые руки. На розовом столике в стиле Louis XV («рококо»), где стоит эта шкатулка, — там же томики Шопенгауэра в коленкорových переплетах с красными, словно окровавленным углами. Да и сам пессимистический гений Шопенгауэра воспитался на рококо вольтеринства, того самого вольтеринства, которым так грешили дети «Дворянского гнезда», даже в лучших его представителях. Не все,

конечно, — Хомяков и Киреевский не согрешили, Сергей Тимофеевич Аксаков не согрешил.

Однако я всё забегаю вперед. Меня волнует мысль — в своих мемуарах я должен сделать вклад в ту науку, где мой учитель, покойный ныне Генрих Майер (Maier) сделал вклад пионера, «Psychologie der emotionalen Denkens» (Tübingen, 1908), сочетав в этом метафизику активности и игры<sup>64</sup>. Ибо в неудачах активности и игры тоже моя «Historia calamitatum».

Гастрономия, удовольствия стола — все это связано с страданиями животных от охоты и от убоя. Несмотря на мою вспыльчивость и приступы ярости, я всегда был сострадателен и ненавидел жестокость как по отношению к людям, так и по отношению к животным. Отсюда мое отвращение как к революции, так и к реакции. Государство, полицию, суд я с малых лет любил за то, что по моему представлению они защищали невинных от насилий со всех сторон наступающих на них преступников революционного мира, которых я всегда переживал как палач<ей>. А потому суд и государство для меня были как бы контрпалачеством. Это были «белые шарики», фагоциты, съедавшие и уносившие патогенные микроорганизмы. Я всегда также был на стороне «общества покровительства животных» и желал, чтобы это общество также расширилось, как расширились суд и полиция по отношению к людям.

До сих пор в моих глазах стоят сцены убийств и мучений животных на кухне. Вот режут цыплят и кур. Вот рубят головы индюкам. Вот повар Лось в Ивани срывает головы голубям, предназначенным в жаркое. Вот дорезывают недобитого на охоте зайца. Вот визжание и рев свиней и поросят, которых колют. Правда, в охоте и гастрономии часто сознательная жестокость совершенно исчезала перед удовольствием спорта, авантюры и гастрономии. Кроме того, у нас очень любили и людей, и животных, и жестокости в сущности не было. Мучения царили в области, т<ак> ск<азать>, метафизики и Достоевского.

Одно из самых ранних воспоминаний в Ивани — это иллюминация по поводу коронационных торжеств при восшествии на престол покойного Государя Николая II Александровича, которого я очень любил, которого трагедию\* я не только всецело принял в сердце, но пережил всецело\*\* как свою собственную и как трагедию всей России<sup>65</sup>. Да оно так и есть. Я хочу к этой теме возвращаться не раз — до того момента, когда в Париже, в <последние> годы моей <эмиграции> в Храме на 12, rue Daru (Paris 8<sup>e</sup>)<sup>66</sup> слева от алтаря, не будет воздвигнут мемориальный крест с короной — символом царственного мученичества.

О возлюбленный Государь, святой и мученик, — твои страдания — мои страдания. Покуда ты правил и был на своем мученическом троне — и мы были в своем страдальческом раю, в своем грустном «Дворянском гнезде». Когда ты ушел — изгнали и нас. И вот мы у последней черты. Моли Бога о нас, царственный мученик. Ты видишь — мы все исходим кровью, ибо пуля, кощунственно пронзившая тебя, венценосного мученика, пронзила и нас. И вот десятки лет длится наша агония.

---

\* Так у автора.

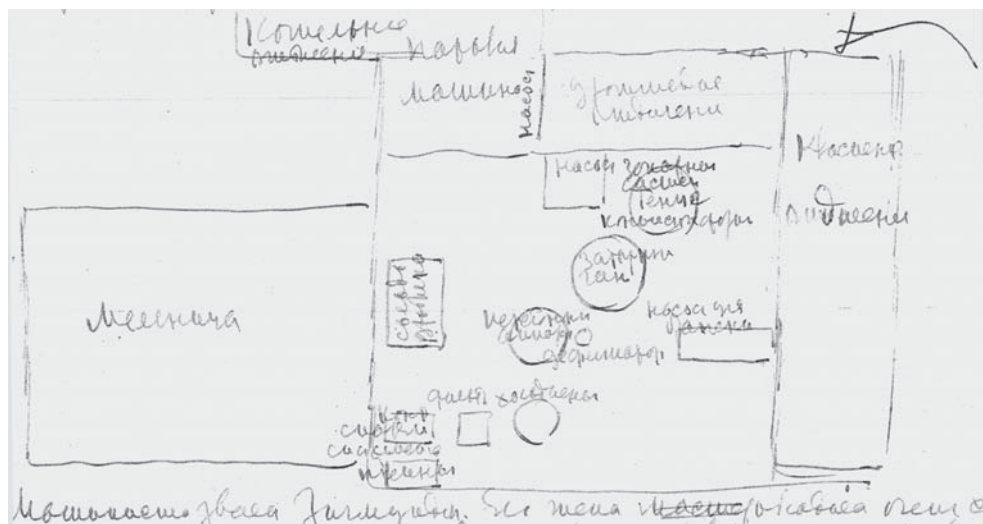
\*\* Так у автора.

Итак, вот иллюминация по случаю коронации. У ворот, при въезде во двор устроена из хвой огромная монограмма НА, т.<е.> Н.А. (Николай Александрович). И на этой гигантской монограмме расставлены разноцветные плашки.

Ничего связанного с Ходынской катастрофой мне моя детская память не сохранила<sup>67</sup>.

Очень ярки из Иваньских воспоминаний — машины, винокурный завод с паровой мельницей и их персоналом, семья Дубинских, визиты директора Слуцкой гимназии Михаила Михайловича Ивановского и женитьба его на маме, самоубийство дяди Сили, поездки на купанье, переезд в Слуцк после свадьбы мамы, поездки в Докторовичи из Слуцка, еще до поступления в первый класс гимназии. Помню первые уроки грамоты по кубикам, первое чтение по слогам в азбуке, помню первые уроки счета у бабушки Надежды Петровны.

Паровая машина, приводившая в движение винокурный завод и паровую мельницу, получала пар от батареи из шести бустеров. Помню, я очень боялся свистка как при машине — тонкого и пронзительного, — так и при котле — густого ревуна. В отделении машины стоял питательный насос системы Вартингтона, часто портившийся и потому замененный простой помпой, приделанной к самой машине. Завод состоял из главной машинной залы и двух приделов — дрожжевого и квасильного. Главная зала была приблизительно квадратной формы, и механизмы в ней были расположены следующим образом:



Машиниста звали Зигмундом. Его жена обладала очень хорошим голосом и мастерски исполняла украинские песни. Они заронились в мою душу навсегда и теперь дают творческий плод. Винокур был обрусевший поляк по фамилии Бобрович, очень красивый, щеголеватый молодой человек, умудрявшийся франтить даже на своей довольно грязной службе. Кажется, он был большой Дон Жуан, но лирически-мечтательного типа. Помню у него в кабинете большой кислотомер системы Вейнберга, а также сахаромер и спиртомер системы Тралеса. Мельник

(«крупчатник») был чех по фамилии Ганауска — тоже Дон Жуан, но толстый и свиноватого типа, кажется, был нечестен и даже форменный вор.

В заводе царил совершенно особый и в общем приятный, хотя и одуряющий, запах. Он был смешанный. Сюда входили: специфический запах паровой машины и машинного масла, запах распаренного под высоким давлением картофеля (3 ½ атм<осферы>), очень пряный, напоминающий какао, запах дрожжей, кислый запах перебродившей бражки, запах солода и царствовавший над всем запах винного спирта-сырца (88°) с его «букетом» сивушных масел (амиловый, бутиловый и пропиловый спирты из категории т<ак> наз<ываемых> высших алкоголей), странно гармониовавших с этиловым спиртом — т. е. основным продуктом.

На дворе к этому присоединялся еще карамелисто-пряный запах «барды» — побочного, очень ценного продукта — браги, откуда отогнали спирт. Эта барда — колоссально питательной силы вещество, смешанная с половой, с соломенной сечкой и солью — давалась скоту — своему и чужому, поставленному на кормежку. Поэтому сверх прочих запахов еще сюда вмешивался запах коровьего навоза — ценнейшего продукта для удобрения полей. Последнее было настолько важно, что считалось выгоднее иметь винокуренный завод ради «барды» и навоза, даже если прибыль от спирта и не была велика или ее вовсе не было. Побочные продукты становились главными, и не спирт, а пшеница, выращенная на навозе от барды, оказывалась основной целью производства. Сельское хозяйство доминировало над фабрично-заводским.

По линии машинно-хозяйственной и научной связано у меня воспоминание с мужским персоналом во главе с дедушкой — Николаем Петровичем Чаплиным, человеком удивительной доброты и цельности натуры.

По линии мистической и сердечной связаны у меня воспоминания с женским персоналом во главе с моей мамой — Верой Николаевной Ильиной, урожденной Чаплиной (по второму мужу — Ивановская, по третьему мужу — Дубинская). Это тоже натура очень цельная, но крайне неудачливая, страдальческая, несмотря на ум и глубину, а может быть, благодаря тому и другому.

Всё в нашей большой семье (говорю о семье своих дедов) было благолепно, слажено, всё было добротное, обильно — и всё разрушалось. Воистину — образ изгнания из рая, микрокосм революционной феноменологии.

Вся наша семья — и большая, и малая — развалилась до революции, и революция причинно тут не замешана. Малый круг внутри большого, но касания нет. Есть только аналогия и некое мистическое влияние.

Дедушка — Лель, высокий и очень сильный физически мужчина, чрезвычайно добрый, но щепетильный насчет своего *point d'honneur*<sup>68</sup> и потому не позволявший наступать себе на ногу. Он был превосходный хозяин-практик и весь ушел в эту сторону жизни. Городским человеком себе представить его нельзя, и тот момент, когда он, продав имение, переселился в город (в Киев), означал его смерть, скоро наступившую, и развал всей семьи. Я его помню совершенно седым благолепным старцем с небольшой бородкой и в золотых очках. Всё крупное — руки, ноги, мускулатура, черты лица очень значительные, но скорее тонкие и благородные. Голос — высокий баритон, переходящий в тенор. Большой запас бессознательного остроумия, что при-

давало этой стороне его существа особую прелесть. Сердце слабое и не соответствующее громадным силам и размерам всего организма. Отсюда меланхолия и сердечная болезнь (грудная жаба), унесшая его в могилу. Любил выпить, но уже в эпоху, связанную с моими воспоминаниями, выпивка ему была запрещена. Отлично помню граненый графин, наполненный топазно-желтой старкой. Вставал он рано, надевал темно-зеленый халат с бронзовыми пуговицами и, распорядившись по хозяйству, пил чай со сливками из огромной белой чашки с лиловыми цветочками, щелкая сахар небольшими щипчиками (пил он всегда вприкуску). Он проводил большую часть своего времени на поле или в хозяйственных зданиях имения. У него была небольшая двуколка, куда запрягалась старая светло-серая кобыла, которую так и звали Серенькая. В эту двуколку он часто брал меня. К часу он возвращался домой, и все садились обедать. Стол в Ивани был значительно скромнее, чем во Владовке (не считая праздников, особенно Пасхи, и приемов). Еще скромнее стал он в Докторовичах. Я очень любил печеный картофель и рубленую селедку. Любил зеленые щи с крутым яйцом, разделяя эти вкусы с бабушкой. После обеда дедушка традиционно отдыхал, а потом опять отправлялся по хозяйству. В четыре часа дня (летом) или около этого запрягали желтую парную бричку и отправлялись купаться. Купальное место нашей небольшой речки находилось верстах в двух от усадьбы, в стороне от так называемого старого тракта и корчмы. В этом месте река раздваивалась в овал, в одном конце мелкий, а в другом — глубокий — около сажени. Вокруг типичный луговой пейзаж, мелкие поросли ольховых кустов, кочки и кое-где болотца с незабудками. В одной из прогалин — родник чистой, кристальной и холодной, как лед, воды. Помню зелень на дне нашей речки, где водились раки. Я их боялся. Вся семья хорошо плавала. Очень рано и я научился плавать (уже в Докторовичах). После купания пили чай. Часто <...> помню я бабушку в глубокой задумчивости в кабинете (он же и спальня). На столе кабинета помню научные весы для зернового хлеба (сложный инструмент), апланатическая лупа и аппарат для насечек при поставке\* кровососных банок (скарификатор). По части литературы и чтения дедушка отличался девственной наивностью. Помню, как в Ивани он увлекался чтением путешествия Нансена к Северному полюсу. Художественной музыки он не знал и не понимал. То же касалось и прочих искусств. Социальная проблема, философско-метафизические и проч<sup>ие</sup> «вопросы» тоже не существовали для него. Религия состояла в традиции. Однако в области сельскохозяйственной культуры, и особенно под влиянием дяди Володи, были введены все новейшие усовершенствования Европы и Америки, такие усовершенствования, которые далеко не всюду и теперь введены. Ужинали часов в 7, немного позже пили чай. Ложились рано.

Бабушка — Надежда Петровна Чаплина (урожденная баронесса Меллер-Закомельская, по первому мужу Сазонович), была высокая полная женщина, некогда блиставшая гордой величественной красотой, следы которой сохранилась у нее до глубокой старости (она умерла 89 лет в эпоху большевизма). Походка у нее была царственная, и вообще во всей осанке что-то напоминало Екатерину II. Так же как дедушка, она была близорука и щурила глаза, что иногда сообщало ее лицу презрительно пренебрежительное выражение. У нас в хуторе Рос-

---

\* Так у автора.

соховском сохранилась фотография моих дедов, снятая в цветущем возрасте. Дедушка сидит «верхом» на стуле странной формы и крестообразно скрестивши руки на его спинке. Бабушка стоит, слегка облокотившись на круглый стол. Лица строгие и серьезные у обоих. Помню удивительные красивые и породистые руки бабушки.

Бабушка вставала поздно, любила лежать в постели, и ей приносили в кровать чай со сливками и поджаренный черный хлеб. Она любила огород, сад и проводила там целые дни, распорядившись работами. Помню огромный деревянный ящик с набором всевозможных семян и горой каталогов семян, фруктовых деревьев и огородно-садовых принадлежностей. В противоположность дедушке моя бабушка была очень музыкальна, превосходно играла на фортепиано, будучи ученицей Рубинштейна<sup>69</sup>. В последние годы запустила технику, но не потеряла ее совершенно. Меня приводил в трепет нежно-бархатистый в рiано и громовой в forte ее удар. Так же как и дедушка, она не знала ни философской, ни социальной проблематики. Это не мешало обоим быть инстинктивно демократическими. Гордые и неприступные по отношению к равным, они становились всё ласковее и ласковее по мере понижения социальной лестницы. Деревенские бабы запросто приходили к бабушке в спальню, и, кажется, все младенцы села перебивали у нее в постели, что не обходилось без специфических инцидентов. Любимая ее горничная Евдоха (Евдокия) была неофициальным диктатором дома, что было бедственно, ибо нрава она была злого. К счастью, ее уравновешивала моя крестная мать, Матильда Ивановна Герке. Дедушка и бабушка также очень хорошо жили с евреями, и у дедушки постоянно можно было видеть кого-нибудь из них. Особенно часто бывал толстый и рыжий Школьник — бесчестный человек, обкрадывавший верившего ему деда. Надо заметить, что когда весть о смерти деда дошла до еврейской общины — ему служили еврейские заупокойные службы и долго оплакивали его.

Вот я пишу эти мемуары и думаю о том, насколько различны помещичьи быты юго- и северо-западного края сравнительно с северо-восточным, описанным у Сергея Тимофеевича Аксакова<sup>70</sup>, которого я всегда безумно любил за совершенно исключительной красоты язык и кроткую, незлобивую, вечно детскую душу, воистину ангела во плоти, как бы не канонизированного Серафима, просиявшего в помещичьей усадьбе, но для меня совершенно ясно, что центр русско-евразийской культуры передвинулся на восток и что я почти «иностранец»... Впрочем, нет, не иностранец, но «украинец» или, если угодно, «украинец», что мне не мешало нежно любить мою метрополию и взирать на нее с надеждой. Это не смотря на то, что грех большевизма тоже оттуда.

Впрочем, Россия полипериодична в истории и политипична в географии. Я просто человек Киевской Руси, да еще с присоединением северо-волинского и южно-минского провинциализмов. Но и это ведь моя любимая, дорогая матушка Россия, всю пестроту которой так хорошо передали Майков и Хомяков:

Край мой — теплый берег Евксина!  
Край мой — берег тех дальних стран,  
Где одна сплошная льдина  
Оковала океан<sup>71</sup>.

И разве не могу я сказать вместе с «великороссом» Хомяковым:

Слава, Киев многовечный,  
Русской славы колыбель!  
Слава, Днепр мой<sup>72</sup> быстротечный,  
Руси чистая купель!

Управляющий дедушки — обрусевший поляк Нарцисс Аницетович Дубинский стал впоследствии мужем мамочки, а его жена 100%-я полька Мальвина Францевна и его сын Александр (Саша, «Олесь») стали заклятыми врагами мамочки и меня на всю жизнь. Впоследствии к этой вражде присоединился и сам Н.А. Дубинский. Роман мамочки с Дубинским, по-видимому, начался уже в Иванни, и когда маму выдали замуж за влюбившегося в нее директора Слуцкой гимназии Михаила Михайловича Ивановского — она была уже влюблена в Дубинского и вскоре изменила своему законному 2-му мужу и моему отчиму. В этом завязка той семейной драмы, которая отложила (vordrucken) на всей моей жизни в России черные лучи, которые протянулись на всю мою жизнь. Правда, теперь, когда уже в эмиграции я списался с Сашей Дубинским и с его женой Стасей (Станиславой Ивановной) Кудешей (по первому мужу Собадская), у меня создалось такое чувство, что после смерти мамы, Нарцисса Аницетовича и Мальвины Францевны эта вражда погасла. Да кроме того, у самого Саши остались добрые черты — он не был никогда моим врагом до конца, но тьма у него часто прорезалась светом.

Я пишу эти строки и думаю о словах Пушкина «что пройдет, то будет мило»<sup>73</sup>, <они> вскрывают тайну поэзии и красоты в правде (Tatsache<sup>74</sup>). Есть во всяком воспоминании Dichtung und Wahrheit<sup>75</sup>, тяжелое и пошлое забывается, быть может, по той причине, что оно не истинно сущее (ибо зло не имеет подлинно субстанциального бытия, несмотря на свою реальность). Встает в памяти (в итоге в вечной памяти софийной «Акаша Хроники»<sup>76</sup>) то, что есть истинно сущее, а потому софийное и прекрасное, и тогда сама жизнь премудро прекращается в красоту воспоминания.

Was im Leben uns verdrießt,  
Das im Kunst uns gern genießt<sup>77</sup>.

Но Kunst и Erinnerung<sup>78</sup>, l'art et la recherche du temps perdu<sup>79</sup> — ведь это, быть может, одно и то же. Гениальнейшее «Zueignung» к «Фаусту» Гёте вскрывает это с поразительной силой. Здесь всё творческое воображение, вся тайна творчества сводится к софийному образу воспоминания или к софийности воспоминания, к образу Вечной Памяти. «И сотвори ему вечную память» — значит: да просияет его образ непреходящей, вечной, софийной красотой, где даже сами тени являются лишь темным светом, прекрасными рембрандтовскими светотенями — высшим образом чего являются незаживаемые язвы Господа, сияющие вечной, сладостной красотой.

Ведь это прах святой затихшего страданья!  
Ведь это милые почившие сердца!  
Ведь это страстные, блаженные рыдания!  
Ведь это тернии колючего венца!<sup>80</sup>



Зло есть зло — безобразная, дьявольская антисофийная маска на софийности бытия (эссенции) и бывания (экзистенции). Его надлежит забыть. Кто старое зло вспомнит — тому глаз вон. Потому надо — ко всему воспоминаемому относиться как пушкинский Пимен к царям.

Своих царей великих поминают  
За их труды, за славу, за добро,  
А за грехи, за темные деянья  
Спасителя смиренно умоляют...<sup>81</sup>

Летописец собственной жизни должен также относиться к тем, кого он вспоминает, ибо оказывается, всё прошедшее — мило. И кому, кроме отъявленного негодного хама, придет в голову хулить умершее, которое, т<ак> ск<азать>, беззащитно. Но так как всё есть прошедшее, то нельзя ни хулить, ни ненавидеть никого. Всегда ненависть падает на доброе, а не на злое, подобно тому как, браня и заушая человека, мы браним и заушаем Вочеловечившегося Сына Божия.

Вот эти богословские мотивы сейчас, когда мои дни склоняются к закату, как-то задним числом осеняют всю мою жизнь. Впрочем, я всегда был религиозен, органически религиозен, и вот в страшные дни и часы хульной\* брани не переставал ощущать «Песнь Песней» в моей душе.

Кстати, в «Песни Песней» надо искать лень, странное, загадочное соединение эротики и церковности, мистики-аскетики и чувственности монаха и Дон Жуана в моей душе.

«Эх вы, Дон Кихот Жуанский», — сказала мне как-то на юге Надя Городецкая — п<и>сательница, очень женственное и симпатичное существо<sup>82</sup>.

«Дон Кихот Жуанский» — в этом тайна моего земного страдальчества. Приступ хулы и ропота — в этом тайна моего ужасающего трансцендентного мира. А вовне — загадка моего неудачничества. Ибо какой же Дон Жуан может устоять, если в нем прочно сидит на своем Россинанте Дон Кихот, и какой богослов может устоять, если его одолевают хула и ропот? Да, еще третье противоречие. Я рожден артистом, я даже эстет. Но в то же время во мне чрезвычайно сильна этика, я не выношу зло и несправедливость, отсюда моя контрреволюционность, я, наконец, «разоблачитель». Но «обличения» эстетика прямо противоречит «разоблачению» этика. И они так приятны и <невольны>, и <мучительны к ситуации, к неудачничеству и срыву жизненной карьеры>. В сущности, я требую от людей, чтобы они не были то\*\*, что они есть. А так как этого быть не может, то им остается объявить мне войну не на жизнь, а на смерть. В особенно страшной степени это случилось с моим отчимом Нарциссом Аницетовичем Дубинским, с Бердяевым и с нынешней моей тещей — Зинаидой Львовной Пундик.

Шопенгауэр по поводу таких людей говорит: «Es muß auch solche Käuze geben»<sup>83</sup>. И прибавляет, что поступает иначе, т. е., желая принять их метафизику, мы причиняем несправедливость (собственно неправду — «Unrecht») и вы-

---

\* Так у автора.

\*\* Так у автора.

зываем их на смертный бой — zum Kriege auf Tod und Leben<sup>84</sup>. И объясняет это так: «Denn seine eigentliche Individualität, d.h. seinen moralischen Charakter, seine Erkenntniskräfte, sein Temperament, seine Physiognomie u.s.w. kann keiner Ändern, verdammen wir nun sein Wesen ganz und gar, so bleibt ihm nichts übrig, als in uns einen Todfeind zu bekämpfen» (Parerga, Berlin, IV, 497)<sup>85</sup>.

Здесь атеист Шопенгауэр оказывается более христианином, чем православный богослов Владимир Ильин, хотя и точку зрения Шопенгауэра нельзя назвать вполне христианской. Она христианская, поскольку речь идет о неизменном, как Божия воля, индивидуальном образе. Но она не христианская, поскольку речь идет о греховных свойствах, которые мы должны желать изменить, но из любви к их носителю, а не из вражды к ним.

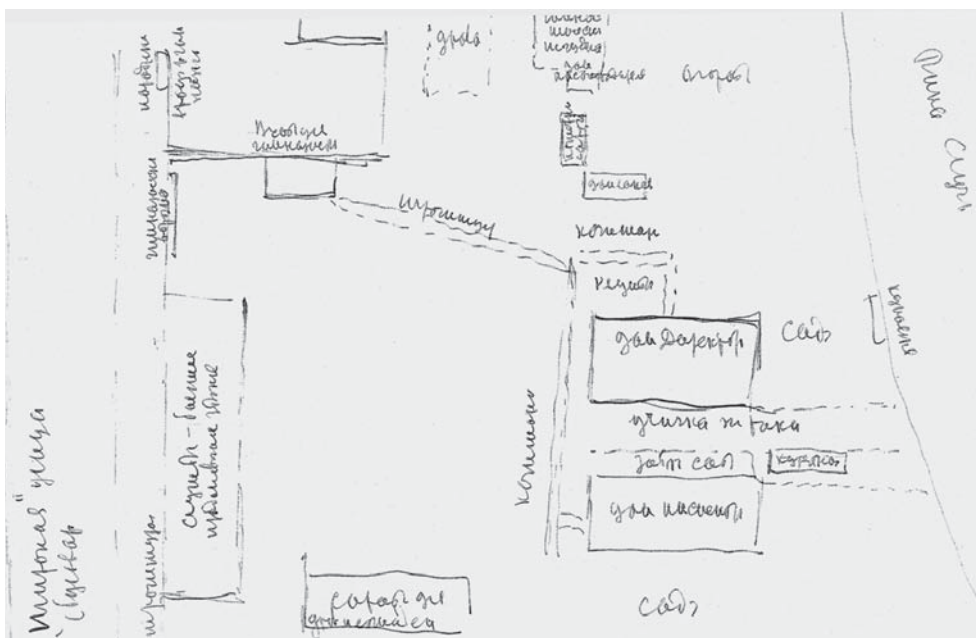
Конечно, я поступал не по-христиански, а язычески-эстетически, ненавидя «некрасивое лицо». На это обладатель «некрасивого лица» отвечал мне звериным рыком или же змеиным шипением — и был не лучше меня. Я уже не говорю о том, что в эстетике много змеиной лжи, на что указал Кайзерлинг<sup>86</sup> в своих «Южно-американских размышлениях».

Возвращаюсь к воспоминаниям. Центром моей сердечной жизни была и оставалась моя мама, к тому же очень красивая и стройная. Но я еще очень любил своих обеих французских гувернанток Жозефину (фамилии не знаю) и m-lle Augustine Abbé из Блуа. Первая была очень некультурная и очень развратная девушка, вернее, даже девка. Каким образом она к нам попала, не знаю. Кажется, она была во всех смыслах не чистоплотна. Помню, как однажды она разбила мой кувшин для снеговой воды (меня умывали со снеговой водой), и чтобы избежать неприятностей, дала мне обломок кувшина в руки и потребовала, чтобы я пошел и повинился перед всеми, будто это я разбил. Я так и сделал — разреvelся и, обошедши всех за столом (это был ужин), попросил прощенья. Так никто и не узнал, что это Жозефина разбила кувшин, а не я. Это случилось в Ивани. В Ивани же бедная Жозефина получила два письма из Франции — одно, извещавшее о тяжелой болезни ее отца, а другое, с траурной каемкой, с извещением о его смерти. Очень хорошо помню и ее рыдания, и ту жалость, которую вызвало во мне ее горе.

Около этого времени, т. е. когда мне было 6–7 лет, стал в Ивань ездить и ухаживать за мамой директор Слуцкой мужской гимназии<sup>87</sup> Михаил Михайлович Ивановский, уже пожилой мужчина, брюнет, физически очень дряблый, некрасивый, неумный и к тому же пожилой (ему было за 40 лет), в чине статского советника<sup>88</sup>. Мама была в расцвете молодости, мощи и красоты — ей было 22 года, да и к тому же ей нравился Нарцисс Аницетович Дубинский, с которым у нее уже начинался роман. Я и прислуга прозвали Ивановского «черным барином». Этот «черный барин» приезжал все чаще и чаще, привозил подарки и мне. Помню полишинеля на палочке, полишинель вертелся и внутри него играла шарманка. Помню, он со мной играл, и я расцарапал ему до крови руки. Он мне их показал, и мне его стало очень жалко. Эта жалость и его исцарапанные руки остались у меня в сердце по сей день, когда его самого, по всей вероятности, уже нет в живых, ибо ему должно было бы быть уже около 80 лет.

Наконец отпраздновали свадьбу. Эта свадьба, несмотря на свою пышность, была очень печальной. Маму вынудили, пригрозив оставить в случае неповиновения без средств, не говоря уже о том, что она любила другого. Кроме того, мамочка была больна, не знаю, почему не отложили свадьбу до ее выздоровления. Может быть, по той причине, что срок уже был назначен и приглашения разосланы. Приехало много гимназистов. Помню, как они ловко спрыгивали с бричек и повозок. Помню, как ими переполнены были комнаты. Врезалось мне одно лицо в темно-синих очках. Был оркестр музыки — блестили медью буюгельгорны, корнет-а-пистоны, в углу прихожей, где поместился оркестр, стоял турецкий барабан с тарелкой, на котором играл маленький чернородый еврейчик. Помню конфеты, танцы, вальс «Un petit verre de Cliquot»<sup>89</sup>.

Кажется, мама была больна, но откладывая свадьбу не хотела и поднялась с кровати. Это была своего рода «Rabenhochzeit» — жизненная иллюстрация к печальной и мрачной странице того же названия у Грига (g-moll)<sup>90</sup>. Впоследствии мама заставляла меня играть эту пьесу и погружалась в невеселые воспоминания. Скоро переехали в город. В первый раз передо мной возникла перспектива городской жизни. Мне город представлялся каким-то сплошным собранием магазинов и кондитерских. И когда мы с мамой приехали в директорский дом и нас на крыльце встретил лакей Илларион (Каханович), человек удивительной честности, чистоты и сознания долга, я сейчас же спросил его: «А что здесь продают?», Илларион отвечал на эту детскую нелепость милой улыбкой и внес меня в прихожую. Теперь мне хочется нарисовать план гимназического двора и директорского дома, где я прожил с перерывами от 7 до 13 лет, промежуток времени для этого возраста не малый<sup>91</sup>.



Впоследствии мне хочется этот набросок упорядочить и расширить, дополнить подробностями. По этому двору я бегал (тогда босиком) и играл, и здесь же в первый раз испытал сладость эротического поцелуя — с Нилочкой Михайловой (под одним из каштанов). Еще до моего поступления в гимназию инспектором был Знаменский<sup>92</sup>, жена которого славилась своим кощунством и атеизмом (это была дама с острыми чертами лица, с пенсне и, кажется, миловидная). Я играл с ее двумя дочерьми — Васей и Лулушкой (Людмила), которые мне рассказывали о далеком Ташкенте, откуда они были переведены, о Каспийском море и показывали мне морские камушки и ракушки. В актовом зале гимназии было небольшое собрание камней, ракушек и иглокожих — своего рода миниатюрный океанографический музей. С этим связано мое первое пробуждение мечты о море, вылившееся потом в страсть к Жюль Верну (особенно к «Детям капитана Гранта» и «Таинственному острову») и вообще к морским путешествиям. Это была мечта о дали и свободном пути, которая осталась скованной в лучшие годы моей юности вследствие мещанства окружающей среды и которую расковала катастрофа, выбросившая меня из России. Это ведь все до жути символично! Как будто и нет иного средства расковать крылья и раскрыть дали, как страшный взрыв революционной катастрофы. Но ведь это драма, переданная Гаршиным в «Attalea princeps». Кроме того, сами революционеры оказались людьми с очень ограниченными вследствие материализма перспективами. Революционеры оказались недостойными революции, да и «дух революции враждебен революции духа», как очень хорошо сказал Н.А. Бердяев<sup>93</sup>. Понадобилась катастрофа Второй мировой войны, чтобы разбить оковы революционного на этот раз уже красного (а не справа) мещанства. Здесь я опять возвращаюсь к теме основного несчастья, основной трагедии моей жизни — противоречию взрывчато-мечтательных, революционно-анархических тенденций моей души и некоей неподвижности, как бы в вечном материнском лоне, куда относится и быт. Я всю жизнь спал и грезил, ненавидя все то, что может меня пробудить ото сна и даже согнать с постели. Однако сны мои были фантастичны, дики, мечтательно-мятежны (Traumeswirren)<sup>94</sup> и «пробудителей» я ненавидел как насильников, вводящих путем педагогики «железного жезла» принудительную трезвость. Но жажда сна и ложа, жажда биологии (которая, как показал Кайзерлинг, всегда грязна и смрадна) искадила мою мечту. И поэтому, быть может, резким толчком выброшен был я из своей постели, подобно многим другим, находившим свое блаженство в биологизме, сне и сновидениях. Возвращаюсь к повествованию.

Инспектор Знаменский был куда-то переведен, а на место его назначен Евг. Вас. Васильев<sup>95</sup> — блондин в очках, большой любитель столярного мастерства, музыки и пения, но, к сожалению, очень казенно и зло относившийся к вверенной его попечению молодежи. В сочетании с бездарностью и педантизмом директора, моего отчима Мих. Мих. Ивановского, это привело к брожению и беспорядкам в гимназии. Жену Евг. Вас. звали Ольгой Гавриловной. Это была небольшого роста плотная дама, наклонная к *douceur de vivre*<sup>96</sup> и к рассказыванию непристойных анекдотов. Впрочем, это не мешало всей семье иметь очень приличный и даже чопорно-натянутый вид. Из детей помню хорошенькую Маню, еще более хоро-

шенькую Лиду (совсем ребенка) и мальчика Коку. Сверх того, у них жила родственница — девочка-подросток Саша, плотная блондинка. Я, сын писемоводителя (мой тезка), Юзик (Иосиф) Коханович (мой сверстник и сын лакея) постоянно играли вместе. Но у меня была своя собственная интимная жизнь, полная тоски, мистики и мечты и связанная с моим увлечением Лермонтовым. Это было моим сверстникам недоступно, да они и не подозревали о существовании этого мира во мне, да и вообще где бы то ни было. Но, странно сказать, я тяготился своей духовностью, своей тоской. Мне казалось, что этим я как-то становился ниже своих сверстников, уравновешенных, без тоски и без мечты, и я им завидовал, считая их выше себя. Вот источник моего *Minderwertigkeitsgefühl* (*complexe d'infériorité*), легшего в основу моего основного несчастья и совершенно искалечившего меня, даже превратившего меня в живой страдающий труп, в тень между живыми, несмотря на мою страшную жажду жизни и ее сладостей. Вот где исток адской темы моей жизни. Думаю также, что второй адской темой моей жизни было раздвоение общерусского чувства и местного северо-западного и юго-западного. Впрочем, я долгое время иначе себе России и не представлял, как в виде Виленщины и Киевщины. И уже лишь в 1914 и в 1916 г. узнал Петербург и Москву — лики русского имперского великодержавия. Третья адская тема — это раздвоение и противостояние сословно-дворянско-помещичьего чувства и чувства социальной справедливости и ненависти ко всякому крепостничеству и насилию, — раздвоение и противостояние монархии и анархии. Далее, пятая\* адская тема — раздвоение западничества и славянофильства (впоследствии евразийства); и шестая — раздвоение прогрессизма и охранения; и седьмая — раздвоение свободомыслия и мистики, что впоследствии перешло в раздвоение кощунственного богоборчества и величайшей напряженной молитвенной церковности. Так как я по своему призванию богослов-метафизик, то такое раздвоение, конечно, оказалось для меня особенно мучительным. К этому надо еще присоединить раздвоение разгула и сладострастия с аскезой и целомудрием, раздвоение жестокости и доброты, верности и измены. Это ужасно — эти расколотовость и двуличность — внутренняя двуличность. Да еще раздвоение музыкального артистизма и физико-математического техницизма, презрение и ненависть к миру артистов как дрянных и развращенных белоручек и недорослей.

Уже во время моего пребывания в Слуцке дедушка купил второе имение в Минской губернии и все в том же Слуцком уезде. Оно называлось Докторовичи и находилось в верстах 25 к западу или, вернее, к северо-западу от Ивани, в страшной глуши, в трех верстах от еврейского местечка Романово или Романов. Мои деды ездили туда из Ивани в карете, на четверке вороных кобылиц и брали меня с собою. Наконец, они совершенно туда переселились. Опять в другой, но похожей, обстановке создалось своеобразное сочетание культуры и примитива, опять русские просторы огласились Бетховеном и Шопеном (и *dis mineur\*\**), звуки которых неслись из помещичьего дома, опять среди глухих садов и лесов раздалась

---

\* Здесь и далее сбой нумерации у В.Н. Ильина.

\*\* Так у автора.

французская и немецкая речь. Впрочем, сам дедушка говорил только по-русски и сейчас же на новом месте оброс, если можно так выразиться, симпатиями крестьян и евреев.

Самым красивым в Докторовичах было небольшое, сильно заросшее озеро (или большой пруд), образовавшийся вследствие запруды на протекавшей речонке, имени которой я не помню. На берегу этого озера стояла усадьба. Помещичий дом, состоявший из двух отделов, соединенных крытым ходом-коридором, выходил передней частью на двор с колоссальной клумбой, обсаженной по окружности кустами великолепных роз, а задней частью с верандой выходил в огромный фруктовый сад, расположенный вдоль озера. Берега и дно озера были очень тинисты, и купание в нем было невозможно. Купались ниже, за плотиной и шлюзами, где образовалось тоже маленькое озерцо, но чистое, прозрачное, с крошечным песчаным островком. Несмотря на крошечный размер этого озерца, оно было довольно глубокое, вследствие падения воды из шлюзов во время весеннего половодья и во время дождей. Как будто перед моими глазами из поднятых шлюзов бьют скатерти белопенной воды, и мне жутко, я содрогаюсь... во мне говорит ужас потомка поколений, переживших потоп или потопы. А может быть, это ужас и перед собственной водной стихийностью, о которой мне говорил в Риге в 1931 г. ясновидящий Е.И. Финк<sup>97</sup>. Когда я прочитал «Нисхождение в Мальстрем» Эдгара По — я сразу понял, в чем тут дело. Это мистика бездны и страх потопы.

В этом озерке я впервые научился плавать и нырять, причем наслаждение от плавания я воспринимал как некий полет в оживленном, водном воздухе. Но там же я потерял (в возрасте 7 лет) свой золотой на золотой цепочке крестильный крест... зловещий символ этой потери я всегда с болью переживал и ныне переживаю.

Но как я всегда любил и теперь люблю воду! Уже небольшой ручеек или даже лужица приводит меня в сладкий трепет. Воды, голубые под солнцем, — основная тема моих блаженных снов... Вода и солнце летом — основной образ моей Третьей симфонии E-dur<sup>98</sup>. Сладостное и даже сладострастное прикосновение воды к телу и особенно к ногам, хождение босиком по влажным, мокрым и зеленым местам есть несомненно для меня переживание того, что Ходасевич так замечательно назвал «влажным сладострастием мира»<sup>99</sup>.

К этому времени, т. е. к семи–восемью годам, я очень резко почувствовал красоту стихов, и навсегда они вместе с музыкой стали моим alter ego. В два часа ночи, при луне ушел я из своей комнаты, чтобы видеть первое появление зари, ибо во мне звучали стихи Пушкина:

Румяной зарею  
Покрылся восток,  
В селе за рекою  
Потух огонек<sup>100</sup>.

Придя в восторг от зари, я разбудил садовника Ипполита, чтобы поделиться с ним своими переживаниями... Все кончилось тем, что бабушка строго наказала меня за мои ночные похождения. Я не мог объяснить взрослым, в чем состоят мои поэтические восторги, а если бы и объяснил, они бы ничего не поняли. По-

эты одиноки всюду, и «у своих» более чем где бы то ни было. Мне было подарено роскошное издание басен Крылова, и я очень пристрастился к этому великому гению нашего языка. Пристрастие это сохранилось по сей день. Крылов очень способствовал яркости предметных ассоциаций, связанных с литературно-художественной и поэтической речью. Басни эти я редко читал сам, но заставлял себе читать свою кузину Олю<sup>101</sup>, которая жива до сих пор и живет в Нежине вместе с тетей Соней. Этой же Оле я очень обязан музыкальными впечатлениями. Она много упражнялась на фортепиано и играла классиков. Я целыми часами просиживал у рояля, наслаждаясь не только пьесами, но и упражнениями, ибо очень ярко воспринимал чувственную красоту музыкального звука *per se*<sup>102</sup>. Понемногу освоился с нотной грамотой и потребовал, чтобы меня учили играть. Пробовал даже писать музыку. Играть меня стали учить позже и притом на скрипке. Это хорошо, ибо техника и звук этого инструмента лежат в основе симфонического оркестра. На ф<орте>п<ьяно> я стал учиться около 16 лет, будучи уже 8-классным гимназистом. Но об этом ниже.

В один день утром покойная мамочка посадила меня в столовой и, положив перед собой свои золотые часики, сказала: «Ну, Володя, теперь мы займемся 1/2 часа Законом Божиим». И раскрыв маленькую, узенькую книжечку, стала она указывать концом карандаша, где читать. Я начал:

«Бог есть Дух — вечный, вездесущий, всемогущий, неизменяемый, всеблаженный, вседовольный»...

Так восьми лет познал я впервые то, что стало основой и смыслом моего существования в зрелом возрасте. Ни маме, ни кому-либо из окружавших меня и в голову не приходило, что я стану богословом-метафизиком по специальности, да и вряд ли кто-нибудь из них отдавал себе отчет в том, что такое богословие и метафизика, хотя были люди культурные и верующие. Пронизанный всегда трепетом потусторонности, «благоговевя богомольно перед святыни красоты»<sup>103</sup>, я, однако, проходил свой детский путь чудесного, сказочно-занимательного. Я не миновал Жюль Верна, который дал много пищи моим поэтическим мечтам, хотя сам этот писатель не был поэтом, но лишь занимательным выдумщиком и фантазером-рассказчиком. Технику я полюбил в поэтическом ореоле Жюль Верна.

Лето я проводил у дедов в Докторовичах, зиму — в Слуцке, где со мною занималась по-французски М<ademois>elle Augustine Abbé из Blois, а прочими предметами (и Священной историей) — учитель городского училища Петкович<sup>104</sup>, очень хороший педагог — твердый, настойчивый и добрый. Воспоминания о нем у меня самые лучшие. Имя и отчество его я забыл.

Вот одно из поэтических воспоминаний зимней поры, связанное со стихотворением Пушкина — «Зимняя дорога». Условились мама и Н.А. Дубинский (у них, кажется, уже начинался роман), что он на Рождество увезет меня в Ивань. Приехать он должен был вечером на санях. Была чудная лунная ночь, и я с нетерпением ожидал Нарцисса Аницетовича. В нашем директорском доме (одноэтажный русский ампир) было тихо, темно и тепло. По комнатам бесшумной тенью бродил старый служитель Илларион Коханович, босой, в штанах навыпуске и, вполголоса напевая народные и солдатские песни, «менял» обстановку, следил, чтобы всё

было на своем месте и чтобы нигде не было ни пылинки, ни бумажки, ни малейшего беспорядка, удивительный по аккуратности, чистоте, доброте и чувству собственного достоинства, умному юмору человек. Как я его люблю и почитаю до сих пор. Он, зная, что мы с Mademoiselle с нетерпением ждали Нарцисса Аницетовича, «как посланца из рая», как некоего «ангела», который должен увезти нас в Царствие Небесное, т. е. в деревню, — подшучивал над нами, напр<имер>, звонил в электрический звонок, и мы выбегали, думая, что это приехал Нарцисс Аницетович. Но вот раздался настоящий звонок, и в переднюю ввалился в запудренной инеем шубе красавец Дубинский. Он даже не разделся, а приказал нам немедленно собираться, что, разумеется, было исполнено с восторгом. Миг один, и мы уже сидели все втроем в широких темно-зеленых санях «с подрезами», закутанные в шубы, завернутые в медвежью полость — «бороницу». Я сидел между Н<арциссом> А<ницетовичем> и Mademoiselle. Лошадь понеслась <1 сл. нрзб.> и удвоила свою рысь, выехав за черту города.

Сквозь волнистые туманы  
 Пробирается луна,  
 На печальные поляны  
 Льет печальный свет она,  
 По дороге зимней скучной  
 Тройка борзая бежит,  
 Колокольчик однозвучный  
 Утомительно гремит...<sup>105</sup>

Впереди — снежные холмы, на горизонте неизменно переходящие в холмы облачные... всё залито лунным серебром, нет черты, отделяющей небо от земли, и впрямь до самой Ивани казалось, что мы едем на небо по очень отлогому подъему. Но вот мигом промчавшие шесть верст сани свернули налево, проехали узкий, огражденный забором ход в усадьбу и остановились у крыльца тоже одноэтажного дома. В доме темно, и светится только на левом крыле, где большая комната Дубинского, кухня и девичья. Вошли. Мальвина Францевна только что проснулась, на лице ее выражение ужаса, в комнате тикает будильник. Оказывается, ее мучил кошмар — дьявольская лошадиная морда склонилась над ней и щелкала зубами. Надо заметить, что лошадь и наяву, и во сне может быть очень страшна (один из самых страшных сарчихос Гойи изображает кошмарную лошадь). Но наш приезд всех развеселил и оживил дом. Подали ужин. Повар Лось со своим сыном служителем Ванькой сервировали гигантские битки с жареным картофелем и с выпущенными яйцами, горячее молоко, свернутые треугольниками блинчики со сладким творогом и изюмом и много всякого добра. Пили чай со сливками и печеньем. В центре стола — граненый графин с желтой водкой, кажется, настоянной на апельсиновой корке — свой винокуренный завод! Водку из спирта-сырца предпочитали очищенной казенке, считая ее более ароматной, хотя и была она гораздо вреднее казенки, освобожденной от «сивушного масла»...

Одно из ярких воспоминаний, связанных у меня с моей непонятной и пророческой страстью к машинам и вообще механической цивилизации (вроде стихов



А. Блока «Новая Америка»), — прибытие в разобранном виде жнеи-сноповязалки Маккормика<sup>106</sup>. Приехал и монтер для ее сборки. Помню мельчайшие детали этого, ныне мало изменившегося и ставшего классическим, механизма, работу которого я наблюдал нынешнем летом в Pas-de-Jeu (Leux Sevres, Франция). От фирмы Mask-Cormick у меня забилося сердце, и я пошел по жнивью за машиной 53-летним седым мужчиной, как некогда ходил в Ивани и Докторовичах 7- и 8-летним мальчиком, за тем же механизмом, на седле которого сидел кучер Антон. Я ходил и вдыхал аромат созревшего и сжатого злака, земли, смазочного масла, манильского шпагата и лошадиного пота. Задним числом меня поражает эта необыкновенная, чисто американская, способность русского человека к механической цивилизации, превратившая колоссальную Российскую империю в грозную неодолимую силу. Все эти русские техники, монтеры, машинисты, землемеры, инженеры, шоферы — с какой непринужденностью овладевают они своим ремеслом и как творчески им распоряжаются. Какие колоссальные успехи сделали русские технические учебные заведения, какими профессорами они прославились, какими типами способнейших студентов, прошедших труднейшие конкурсные испытания, наполнились... Вот я вижу моего двоюродного брата Силу (Сергея) Стахурского, обложенного толстыми томами физики Хвольсона<sup>107</sup>, «Анализами бесконечно малых» Тихомандрицкого<sup>108</sup>, «Сопrotивления материалов» Тимошенко<sup>109</sup>... С раннего утра, поднимаясь на цыпочках, чтобы не разбудить бабушку, выходит он к утреннему чаю с толстой книгой и тетрадкой, испещренной знаками интегралов. Мною овладевает жажда знаний, я упорно расспрашиваю его о тайнах алгебры, геометрии, физики, пристаю к нему, а потом и к жениху его сестры, моей кузины Оли, поручику, артиллеристу Валериану <Солоникову>, от которого я восьмилетним мальчиком получил первые сведения о сущности алгебры и ее отличии от арифметики. Мне кажется, что строгие, стройные и неоспоримые очертания точного знания, так же как и строгие, стройные и неумолимые очертания классической музыки, легли в основу образования моих вкусов, духовных склонностей и симпатий. Они ввели в русло точной и расчисленной формы разрывавших меня эмоциональных элементов, готовых растерзать меня, подобно тому, как менады растерзали Орфея. Они же и подготовили мне призвание философа-морфолога, сочетающего строгую, критическую гносеологию с метафизическим богословием, они же родили во мне тот платонизм, т. е. точную и в то же время пламенно-эротическую метафизику, которой определились и мои софиологические склонности в богословии. Тогда я еще даже не был эмбрионом метафизика-софиолога и платоника, и лишь намечалось то, что в будущем должно было меня породить духовно на свет. Старая Россия — это мое состояние до рождения, мой Ветхий Завет на небе, а война и революция — мое рождение, эмиграция — детство, отрочество и юность, и, наконец, нынешняя катастрофа — переход к зрелому возрасту.

Значит, все мои переживания до революции и эмиграции — это есть существование до рождения, в области гётевских «Матерей». И родился я, по-настоящему, как подобает, странником. Мое эмигрантство — символично. «Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих» (Пс. 118, 19).

Зрелый возраст характеризуется чувством реальности и темпераментом бойца. Кажется, последнее у меня <...> имеет преимущество над прочими. Но это борьба в чисто духовном, идеологическом плане, что в итоге не помешает мне быть многократно раненым насмерть — и ни одна из этих ран не зажила. Мою зрелость можно охарактеризовать словами А. Блока:

Тебя, Офелию мою,  
Увел далёко жизни холод,  
И гибну, принц, в родном краю  
Клинком отравленным заколот<sup>110</sup>.

А что если я уже погиб и только ждет мой труп погребателей? Ибо зрелость и старость не может быть уделом таких людей, как я, и переход к зрелости и старости для них означает агонию (более или менее длинную) и смерть. Впрочем, об этом после. А теперь опять возвращаюсь к воспоминаниям, относящимся к временам Докторовичей и Слуцка.

Первое сильное художественное впечатление я получил в музыке от исполнения на фортепиано некоторых вещей классического и салонного репертуара бабушкой и Олей (кузиной). Я очень любил часами слушать упражнения и этюды, из которых мне некоторые очень нравились и были моими любимыми. Помню хорошо, что я любил или классиков, или упражнения, т. е. чистую игру элементарных гармоний и ритмов. Уже тогда у меня определилось равнодушие к пошлой музыке, очень скоро перешедшее в лютую вражду. Первое сильное художественное впечатление я получил от басен Крылова (оставшегося по сей день одним из любимейших моих писателей) и от некоторых стихов Пушкина. Прошел я и через увлечение Жюль Верном, однако не в порядке художественном, но «занимательно-авантюрном», куда относится и Робинзон Крузо. Тогда же я очень увлекся «Фрегатом Палладой» Гончарова, где сочетались авантюра и искусство. «Фрегат Палладу» читал для бабушки мой кузен Силя Стахурский. Сама же бабушка читала мне «Таинственный остров» Жюль Верна, особенно хорошо я помню одно из ее чтений, когда я был болен (моя вечная ангина). Бабушка дочиталась до сильной головной боли, и я помню коричнево-желтую муслиновую шаль вокруг ее головы.

Совершенно ясно, что целая пропасть уже тогда разделяла для меня искусство от интересной выдумки и авантюры, соединяя то и другое лишь в редких и даже редчайших случаях. Но живой человек, особенно в детстве, таков, что выдумка и авантюра имеют над ним волшебную власть, и я вполне отдавался этой власти. В Слуцке я читал с увлечением «В царстве черных», русский перевод какого-то английского автора<sup>111</sup>. Помню эту роскошно изданную детскую книгу в голубом переплете с золотым обрезом и золотыми с черными заглавными буквами, красиво вытисненными на лазури переплета (у меня были еще две другие книги того же типа «Столетие открытий» — книга о Колумбе, Васко де Гама, Америго Веспуччи и др.<угих>, и еще книга русских приключений детского типа. Первая — красная с золотом, вторая — коричневая с коричневым обрезом и очень хорошими иллюстрациями). «В царстве черных», где речь шла о приключениях

арабского отряда, отправившегося на завоевание вглубь Черного материка, — все фигуры стали для меня живыми во плоти, что тоже не относится к художеству в строгом смысле слова. С Селимом, Калугу, Самбой, Мото и прочими персонажами я здоровался поутру и прощался вечером, ложась спать, когда M<ademois>elle Augustine L'Abbé тушила стенную лампу. Это была почти галлюцинаторная реальность, и невозможность до конца переселиться в этот мир тропического леса с его обитателями вызывала во мне острую тоску. Другой тип, более близкий к художеству, но еще не совсем художественно нарисован<ный>, вызывали немного позже читанные «Дети капитана Гранта» Жюль Верна. Эта книга долго имела для меня значение, и ее персонажи тоже были для меня дорогими товарищами. Мой милый, дорогой, добрый старик — Жюль Верн, — сколько счастья, хорошего, чистого счастья принес ты тысячам детских душ. Следует добром помянуть тебя, старого друга моего детства. Да и к тому же твои произведения проникнуты и согреты живым религиозным чувством. Ты нас не соблазнил, но очень многих научил и наставил любить Бога и ближних. И в то же время очаровал их своим волшебным вымыслом. Да сподобит тебя Бог, которого ты так любил, вечного блаженства. Сам ты был взрослое седое дитя. А таковых есть Царствие Божие. О, верю, что ты уже вошел в радость Господа твоего.

Приближалось время держать экзамены в первый класс гимназии. Первые уроки Закона Божия дала мне мама. Первые уроки арифметики — мой милый, дорогой учитель Петкевич. Как жаль, что я забыл его имя и отчество. Он же вел со мной диктовку и докончил Священную историю, грамматику и арифметику. Занимался я с удовольствием, особенно Законом Божиим и арифметикой. Я так полюбил задачник Евтушевского<sup>112</sup>, что стал сам составлять задачи и даже стал писать сборник арифметических задач. Эту, т<ак> ск<азать>, творческую работу я продолжил в гимназии, стараясь придавать задачам форму интересного сюжета. Впрочем, дитя есть всегда дитя, и хотя своего учителя я очень полюбил (до сих пор ярко я помню его величественную, высокую фигуру, добрую улыбку, круглую золотистую бородку и приятный бархатно-ласковый, мягкий бас) — все же я радовался, когда он почему-либо не приходил, и я мог баклушничать и шалить, что со мной вместе делала и M<ademois>elle Augustine, заменившая к этому времени M<ademois>elle Josephine.

Время я делил между Слуцком, где зимой учился, и Докторовичами, где проводил лето. По-видимому, в это время мама неудержимо влюбилась в Нарцисса Аницетовича Дубинского, с точки зрения мужественной красоты и мощи представлявшего самый выгодный контраст с Михаилом Михайловичем Ивановским, которого можно было только жалеть за все его немощи и за доброе сердце. Но молодость жалости не знает, да еще влюбленная молодость. А маме тогда было 23–24 года, она была очень красива, женственна, грациозна и естественно влеклась к эротическому дополнению. Но для натур целомудренных и порядочных, нравственно и религиозно-культурных, впитавших лучшие традиции мировой и русской литературы, подобного рода страсть есть великая катастрофа. И я помню, как однажды ночью, проснувшись, я слышал громкие рыдания мамы, плакавшей у себя на постели... Что это были за рыдания и о чем плакала мама? О том ли, что

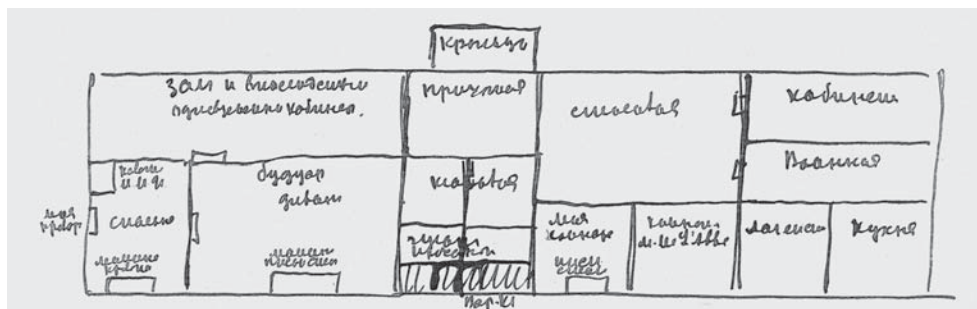
ее охватила эта оскорбительная для всей ее аристократической семьи страсть, несомненно бывшая «падением», независимо от фактического «падения»? Или это были слезы переполненного сердца... которому «широкий мир тесен» для мук и блаженства любви? Или слезы покаяния и стыда? Не знаю и никогда не узнаю. Помню только одно, что неистовая, остро-мучительная жалость пронзила меня, и я стал громко плакать вместе с мамой, разделяя сердцем ее закрытое для моего детского умишка горе. Ведь для любящего свою мать единственного дитяти слёзы родимой так же страшны и непереносимы, как и ее кровь. Но быстро подошло время крови и смертных ужасов. Мама смертельно заболела, по-видимому, в результате неловко сделанного доктором А.В. Бильдзюкевичем аборта. Помню, как дома нарастала атмосфера тревоги и неблагополучия. Помню, как мамы никогда не было дома, и она появлялась в самые неурочные часы, курила огромное количество папирос (а это у нее всегда был признак возбужденно-горестного настроения)... Помню, как Нарцисс Аницетович Дубинский постоянно появлялся и исчезал на своем велосипеде... Велосипед тогда был новинкой, и иметь его считалась признаком хорошего «буржуазного» тона, как теперь иметь автомобиль. Наш инспектор Евгений Васильевич Васильев тоже завел себе велосипед по примеру Нарцисса Аницетовича и многих других чиновников города. Ездили и ночью с масляными рефлекторными фонарями и с красными и зелеными огнями, — что было очень красиво и завлекательно. Любили очень гонки и по шоссе развивали большие скорости. Акцизный чиновник Кадди даже завел себе мотоциклетку, тогда еще очень несовершенную и постоянно портившуюся. Однако все же он на ней ездил, развивая бешеные по тому времени скорости и пугая лошадей. Помню запах резины, бензина, смазочного и горючего масла и все эти инструменты, что связаны были неизменно с велосипедом. Помню таз с водой, а в нем лопнувшую внутреннюю коричнево-красную шину, в которой Н<арцисс> А<ницетович> искал отверстие (и найдя его, он заклеивал кусочком резины и резиновым клеем, который сам приготавливал, растворяя резиновые таблетки в бензине). Саша Дубинский по примеру своего отца стал увлекаться велосипедом и был однажды в моем присутствии жестоко избит отцовской нагайкой за то, что поехал без спроса и поздно возвратился. Эта расправа вызвала во мне раз навсегда глубочайшее отвращение ко всякому палачеству, даже «педагогическому», и легла в основу той антипатии, которая впоследствии выросла у меня по адресу Нарцисса Аницетовича. Какое безумие — позволять себе такую жестокость, да еще в присутствии ребенка! Настушило время болезней. Сначала тяжело заболела Мальвина Францевна Дубинская, жена Нарцисса Аницетовича и мать Саши Дубинского. Страдала она очень сильно и долго (это была какая-то желудочно-кишечная болезнь). Мама тщательно ухаживала за женой своего возлюбленного, просиживая у ее постели целые ночи напролет и выполняя самые грязные и отвратительные процедуры. Мамочка, вообще очень сострадательная, чрезвычайно любила ухаживать за больными, кто бы они ни были, мастерски делала перевязки и все медицинские работы, и я думаю, что в ее лице Россия потеряла чрезвычайно талантливого врача. Если бы обстоятельства сложились иначе, то в лице моей мамы Россия имела бы врача-мыслителя, т<ак> ск<азать>, Пирогова-женщину. Кстати, велосипеды

эти, на которых происходила эта романтическая езда, были фирмы Дукс<sup>113</sup>, с владелицей которой, сильно напоминающей мою маму (племянницей Юлиана Брежнева<sup>114</sup>), я познакомился в Париже. Так скрещиваются жизненные пути.

Медленно и с трудом поправлялась Мальвина Францевна, при которой в качестве сиделки находилась еще сильно полонизированная белорусская женщина Пацлина, впоследствии переехавшая к нам в Норинск со своим гражданским мужем Сидором (Норинск — это имение, купленное мамой около 1900 г. в Волынской губернии Овручского уезда, где началась новая полоса моей жизни — отрочество и ранняя юность. Об этом, если Бог даст, речь будет впереди). Возвращаюсь к прерванному повествованию. Мальвина Францевна медленно поправлялась, и теперь наступила очередь за мамой.

Помню, некоторое время к нам стал наведываться наш гимназический врач Александр Васильевич Бильдзюкевич, сын которого, учившийся в гимназии, оказался хорошим пианистом. Помню какие-то инструменты и среди них небольшой ланцет или скальпель на очень длинной черной ручке. Это всё были женские инструменты. Среди них я еще помню какие-то т<ак> наз<ываемые> зеркала. Теперь для меня уже почти нет сомнений, что мама забеременела и ей сделали аборт. Но сделали неловко или грязно — и вот в результате тяжелая форма перитонита, который почти всегда оканчивается смертью. Но необычайно витальная и крепкая природа мамы выдержала это ужасное и мучительное воспаление брюшины, сильно, однако, отразившееся на ее здоровье. По-настоящему мама так никогда и не поправилась.

Незадолго до этой смертельной мамочкиной болезни, связанной с громадным нравственным потрясением, мне приснился вещей и очень страшный сон. Это было в Слуцке, в нашем директорском доме.



Мне снилось, что на дворе и в комнате свинцовый осенний полумрак — не то утренний, не то вечерний, скорее утренний. С тоской, с робостью прохожу я по комнатам и вхожу в мамин будуар (в стиле Louis XV), сам директорский дом в ампирическом стиле. Некоторое время не могу ничего разобрать, чувствую только свинцовую давящую тоску, тревогу и жадное желание увидеть маму. Собственно ее-то я и ищу. Мой взгляд обращается к дивану, на котором она любила читать — сидя или полулежа. Что-то страшное там делается... я подхожу совсем близко... да, это мама, но в каком виде! Лишь один ее бюст, обрубок... лицо ее подергива-

ется в судорогах жестоких мук, глаза полузакрыты, веки дрожат. Возле живота — второе лицо, но уже совершенно мертвое, полурасложившееся, желто-зеленое... Я стою над этим, что некогда было доброй стройной, красивой, высокой мамой... а теперь жалкий обрубок... не могу понять, не могу поверить тому, что случилось... из глаз поток холодных свинцовых слез, грудь сдавлена, и я поднимаю обе руки к небу с укором и мольбой. Постепенно все начинает путаться, погружается в серое ничто, и я незаметно перехожу от сна к бодрствованию, словно между тем и другим состоянием нет резкой границы и даже нет ее вовсе, словно это — одно и то же. Да и правда, разве проснулся я от этого ужаса? Ведь он продолжается, и я продолжаю стоять с поднятыми к небу руками с укором и мольбой... Кстати, это ужасное соединение стиля рококо и могильной трагедии — не есть ли символ музыки Чайковского, которого я так хорошо постиг<sup>115</sup> — особенно в его трех последних симфониях и трио а-моль<sup>116</sup>? Здесь вообще символика трагедии всей дворянско-помещичьей и чиновничьей России<sup>117</sup>.

Со времени маминой болезни мистика материнской любви усилилась мистической материнской смерти. Сон о маминой смерти стал обычной печалью моих ночей, пока наконец этот сон не осуществился. Но я был далеко, и маминой смерти не видел... Но ее смертные муки видел, и запах лекарств и аптеки стал для меня с тех пор многозначительным и полным смысла... Пиявки, эфир, йод, горчичники, сулема — все это неразлучные спутники страдающего человека и не столько лекарства, сколько символы. Помню, как маме ужасно густо мазали йодом живот до того, что кожа сходила клоками... и до сих пор мое сердце исходит тоскою, когда я вспоминаю ее худые, прозрачные пальцы, снимавшие эти страшные черно-коричневые лоскутья кожи, и ее жалкую страдальческую улыбку. Это происходило на том же самом месте, в мамином будуаре, которое я видел во сне, предсказавшее мне тяжелое событие. Помню, как в первый раз оправившуюся маму подняли, и она, водимая под руки двумя\*, сделала несколько шагов по комнате.

Приблизительно около этого времени мама сдружилась с простой и очень красивой девушкой Аннушкой, такой же пышной, высокой, как мама. Помню, как часто Аннушка с неизменной грустной улыбкой начинала говорить с мамой вполголоса и очень ее утешала, поила чаем, угощала, чем могла. Потом уже, став взрослым юношей, я узнал, что Аннушка была жертвой обмана со стороны одного гнусного молодого человека, которому она отдала всё — от своего тела до своих жалких грошей. Получив образование на счет Аннушки и «выйдя в люди», этот бесчестный человек бросил ее, навсегда разбив ее сердце, и поселил в ней недоверчивость, разочарование, горечь. Мама вообще влеклась к униженным и оскорбленным и всегда любила врачевать духовные язвы, подобно тому как она любила врачевать язвы телесные. Мамочка не знала в таких случаях ни счета деньгам, ни счета времени. Вся целиком отдавалась страдальцу. И это — до конца своих дней. Незадолго до своей смерти мама ухаживала за каким-то несчастным парализованным старцем в Житомире, носила ему воду, убирала за ним, рубила дрова для него (это было уже при большевиках). На этом слегла и уже больше не вставала. Я верю в святость моей мамы и в ее молитвенное заступничество. К тому же мама

\* Так у автора.

была усердная благоговейная молитвенница, и у нее в комнате было множество икон, окружавших центральную большую икону — кажется, художественную копию Козельщанской Божией Матери<sup>118</sup>. Маленькую копию этой иконы, бабушкино благословение дяди Володи, я ношу на себе. Этим медальоном-иконой дядя благословил меня в день моего брака. Эта же икона спасла дядю (ныне покойного) на войне от ядовитых газов. Носоглотка была сильно обожжена, обоняние уничтожено, но он уцелел и прожил еще 30 лет<sup>119</sup>.

Пожары... и во сне и наяву они играли для меня очень большую мистико-символическую роль. Поэтому я в младенческом возрасте воспринял сразу роковую красоту огня (напр<имер>, в баснях Крылова), а позже глубинно постиг этюд Feux-Follets (Irrlichter) Листа (В-dur, чрезвычайно трудный)<sup>120</sup>, Flug <1 сл. нрзб.> Валькирий Вагнера<sup>121</sup>, «Flammes sombres» Скрябина, его «Прометей»<sup>122</sup> и ἔκλυρρωσις<sup>123</sup> Гераклита, Анаксимандра, стоиков... Об этом я хотел писать целую работу. С жутким наслаждением перечитывал в младенчестве эти строки:

Смотри, как все усилия людей  
Против себя я презираю,  
Как с треском, что ни встречу пожираю,  
И зарево мое, играя в небесах  
Окрестностям наводит страх<sup>124</sup>.

Греческое слово Πῦρ<sup>125</sup> я переживал как имеющее серный запах и во вздохах паровоза подходившего к станции Осиповичи скорого поезда ясно слышал звук Пор...

Уже в юношестве я нашел для себя, как для русского человека расшифровку этого символа в стихах Блока.

Я слышу рокот сечи  
И трубные клики татар,  
Я вижу над Русью далече  
Широкий и тихий пожар<sup>126</sup>.

Огонь пожара и огонь молнии и грозы, каждый по-своему стал для меня мистическим и онтологическим символом, также и символом историософским — особенно касательно России, так же как символическое внутреннее видение (сон наяву) о кровавой реке... горькие слезы пролил я об этом видении в детстве. Думаю, эта изощренность чувств, помимо природной наследственности, коренилась еще в той атмосфере классической утонченности, которой, несмотря на все свои дефекты, была пропитана гимназия. Звуки античных классических языков, картины античной классической жизни, которыми были увешаны стены гимназии, атмосфера физики и математики, так хорошо согласовавшаяся с περὶ θυσεος<sup>127</sup> ионийских натурфилософов и с физико-математикой пифагорейцев и неоплатоников (говоря о настроениях\*) — все это созидало культуру моей души и ложилось в основание ее утонченности. Еще семилетним мальчиком я обратил вни-

---

\* Так у автора.

мание на изображение античных актеров в масках. Звуки латинского и греческого языков я обожал... В эту же пору я с жадностью слушал рассказы взрослых о положительном и отрицательном электричестве в облаках, соединение которого производит молнию. Я жадно читал физику Малинина<sup>128</sup> и списывал ее целыми страницами, делал опыты и добывал электричество с помощью примитивного электрофора (железный поднос на двух изолирующих стаканах, газетная бумага высушивается на кафеле нагретой печки и растирается шерстяным рукавом гимназической рубашки — это уже было в первом классе гимназии). Одним словом, я в миниатюре проходил путь античного духа! Природа, искусство, трагедия, религия, философия, наука. Все это было в равновесии и не только не вытесняло религии, но еще укрепляло ее. В одиннадцать лет вспыхнуло пламя первой любви, и я пережил сладость поцелуя. Дух мой воспламенился еще больше, и для него настала пора молодого платонизма. В общем, все происходило под небом Эллады и под звуки ее «божественной речи», ибо всё от нее — и древняя философия, и трагедия, и Евангелие царства. О, возлюбленная Эллада... Как это было по-гречески! Naturфилософия и трагедия... размышления о законах природы и орфические таинства, где соединились <1 сл. нрзб.> эротика и религиозная тайна бытия... Боги олимпийские и хтонические...

Только российская имперская культура могла совершить это перенесение Эллады в область Полесья и Пинских болот... и за это я всегда буду помнить ее добром — до моего последнего издыхания. О, что это за чудо — соединение двух культур и, кроме того, соединение языческого классицизма и евангельского и отеческого христианства со всем благолепием православной литургии, красоту которой я постигал чуть ли не с 2-х лет и которую сознательно начал изучать по своей воле с первого же класса гимназии. В эту же эпоху я начал ощущать государство как нечто священное, и это ощущение священности государства не мешало моему свободолюбию, духу протеста и возмущения — и странно антиномическим образом гармонировало с ним. Мне теперь кажется, что печальное и страшное видение кровавой реки есть видение субстанции Анаксимандра, из которой все вещи возникли и в которую они возвратятся с необходимостью, <...> платя друг другу покаяние и воздаяние по порядку времени.

...Вот я, семи- или восьмилетним мальчиком, горько рыдаю от того, что вижу внутренним взором неприветливый скалистый пейзаж и среди этих мрачных утесов — кровавую речку... в которой плывет качаясь труп пронзенного в сердце человека... кажется, это труп молодой и прекрасной женщины, убитой злым и жестоким негодяем, захотевшим от нее отделаться.

На этой почве у меня и возникла очень рано идея мстящей справедливости и воздающего закона — вот это самое, о чем говорит фрагмент Анаксимандра...<sup>129</sup> И все это сбилось на самом ионийском натурфилософе-метафизике: в 494 г. Милет разрушен<sup>130</sup>, и кровавая пучина поглотила прекрасную страну и гениального мыслителя. Всё обрывается сразу... Не это ли я бессознательно оплакивал, надрываясь в рыданиях перед страшным кровавым видением...



<sup>1</sup> Цитата из доклада В.В. Розанова «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» в Санкт-Петербургском религиозно-философском обществе (21 ноября 1907 г., доклад вошел в книгу: [Розанов 1911]). См. также: [Религиозно-философское общество 2009, т. 1, с. 149].

<sup>2</sup> В.Н. Ильин неточно цитирует «Опавшие листья» В.В. Розанова (запись от 2 июля 1912 г.). У Розанова: «Попы — медное войско около Христа». Далее Розанов пишет: «все-таки попы мне всего милее на свете».

<sup>3</sup> Мейер Георгий Андреевич (1894–1966) — публицист, философ, литературовед. С 1920 г. в эмиграции. С 1923 г. жил во Франции. С 1925 г. сотрудник газеты «Возрождение». В 1934–1937 гг. В.Н. Ильин написал множество статей для газеты «Возрождение», с которой прекратил сотрудничество после ссоры с Г.А. Мейером. По словам В.Н. Ильина, Г.А. Мейер, «...сидя в редакции, наполнял мои статьи бранными выходками, которых у меня не было в оригинале, делал это, несомненно, со злым умыслом повредить мне и дискредитировать меня до конца в глазах общества» [Ильин 1997, с. 183].

<sup>4</sup> Вероятно, имеется в виду Михаил Константинович Горчаков (1880–1961), светлейший князь, основатель парижского издательства «Долой зло», целью которого был выпуск книг, посвященных «опасной для человечества работе темных сил, масонства, сектантства, социализма и иудаизма». Этим издательством, в частности, была выпущена книга «Сионские протоколы» (Париж, 1927) с предисловием кн. М.К. Горчакова.

<sup>5</sup> Сувчинский Петр Петрович (1892–1985) — музыковед, литературный критик, публицист. Один из лидеров евразийского движения. С 1918 г. в эмиграции. Жил в Болгарии, затем в Германии, где познакомился с В.Н. Ильиным и привлек его к участию в евразийском движении. В.Н. Ильин печатался в «Евразийской хронике», «Евразийском временнике», газете «Евразия». В 1929 г. он не принял просоветскую идеологию П.П. Сувчинского и его парижской евразийской группы, участвовал в сборнике «О газете “Евразия” (газета “Евразия” не есть евразийский орган)» (Париж, 1929). В 1934 г. В.Н. Ильин официально вышел из евразийского движения.

<sup>6</sup> Из стихотворения С.А. Есенина «Чую радуницу Божью» (1914).

<sup>7</sup> Арий (ок. 260–336) — александрийский священник, основатель еретического арианского учения.

<sup>8</sup> Из стихотворения В.Ф. Ходасевича «Баллада» (1921).

<sup>9</sup> В небольшом поселке Гарансьер под Парижем в годы Второй мировой войны снимала квартиру Евгения Николаевна Берг, саяченица В.Н. Ильина. В этой квартире часто находили прибежище Вера Николаевна с дочерью Еленой и теща Ильина — Зинаида Львовна Пундик.

<sup>10</sup> «Посвящение» (нем.).

<sup>11</sup> И.-В. Гёте, «Посвящение» из трагедии «Фауст»:

Вы снова здесь, изменчивые тени,  
Меня тревожившие с давних пор,  
Найдется ль наконец вам воплощенье,  
Или остыл мой молодой задор?  
Но вы, как дым, надвинулись, виденья,  
Туманом мне заставивши кругозор.  
Ловлю дыханье ваше грудью всею  
И возле вас душою молодею.

.....  
И я прикован силой небывалой  
К тем образам, нахлынувшим извне.  
Эоловою арфой прорыдало  
Начало строф, родившихся вчерне.  
Я в трепете, томленье миновало,  
Я слезы лью, и тает лед во мне.  
Насущное отходит вдаль, а давность,  
Приблизившись, приобретает явность.  
(Перевод с нем. Б.Л. Пастернака.)

<sup>12</sup> Из стихотворения А.А. Фета ««Поделись живыми снами...» (<1847>).

<sup>13</sup> «Тускуланские беседы» (осень 45 г. до н. э.) написаны Цицероном за два года до смерти и состоят из пяти книг, представляющих конспект лекций, будто бы прочитанных перед обширной аудиторией, с изложением взглядов по важнейшим жизненным вопросам.

<sup>14</sup> Цитата из «Тускуланских бесед» (Кн. I. V. 9): «Стало быть, несчастны и те, кто уже умер, и те, кому это еще предстоит» (пер. с лат. М.Л. Гаспарова).

<sup>15</sup> В.Н. Ильин подразумевает раздел «Свобода самосознания: стоицизм, скептицизм и несчастное сознание» в книге Гегеля «Феноменология духа» («Phänomenologie des Geistes», 1807). Гегель писал о стоицизме: «...общие фразы об истинном и добром, о мудрости и добродетели, от которых он не мог уйти, поэтому хотя в общем и возвышенные, но так как на деле они не могут способствовать развитию содержания, то они скоро начинают надоедать» [Гегель 1992, с. 158].

<sup>16</sup> Слово умирающего (*фр.*).

<sup>17</sup> Бесконечно приближающаяся (понятие, используемое в математическом анализе).

<sup>18</sup> *Minderwertigkeitsgefühl* (*нем.*), *complexe d'infériorité* (*фр.*) — комплекс неполноценности.

<sup>19</sup> О взаимоотношениях В.Н. Ильина и Н.А. Бердяева см. материалы, опубликованные в рубрике «Религиозно-философский архив русской эмиграции» журнала «Звезда» (с. 169–189): [Безносос 1997; Сазанович (Ильин) 1997; Ильин 1997; Бронникова 1997].

<sup>20</sup> Духовным отцом В.Н. Ильина о. Сергей Булгаков стал после кончины о. Александра Ельчинова (1881–1934).

<sup>21</sup> Персонажи повести Л.Н. Толстого «Казачи».

<sup>22</sup> Первая симфония си-бемоль мажор Р. Шумана (1841), одно из любимейших произведений В.Н. Ильина.

<sup>23</sup> Имеется в виду Готшалк или Готшалк из Орбе (Gottschalk; Годескальк, Готескальк, что на древнемецком означает «раб Божий», ок. 803 — ум. ок. 868), саксонский богослов, философ, поэт, монах. Проповедовал учение о предопределении.

<sup>24</sup> В.Н. Ильин на основе собранного им материала по истории средневековой философии в течение почти трех десятилетий читал лекции на эту тему в Институте св. Дионисия в Париже, значительная часть лекций хранится в ДРЗ (Ф. 31. Оп. 1. Д. 402–406). Лекция, посвященная Готшалку, в ДРЗ отсутствует.

<sup>25</sup> Неточная цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Когда надежде недоступный...» (между 1835 и 1841). У Лермонтова: «Не обожай ничью святыню / Нигде приют себе не строй».

<sup>26</sup> Сазанович (Созанович, Сазонович) Владимир Федорович (1865, по др. сведениям 1863–1943) — генерал-лейтенант (генерал-майор), общественный деятель. Участник Первой мировой и Гражданской войн; командовал 2-й Гренадерской артиллерийской бригадой (1915–1917). В эмиграции во Франции, жил в Париже. Председатель Общества русских гренадер, член Объединения бывших воспитанников Полоцкого кадетского корпуса и др.

<sup>27</sup> В.Н. Ильин неточно цитирует две строки из эпиграфа к стихотворению Г.Р. Державина «Бог» (1784) и четыре строки из его же стихотворения «На смерть князя Мещерского» (1779). У Державина: «Река времен в своем стремленье / Уносит все дела людей», «Глагол времен! металла звон! / Твой страшный глас меня смущает; / Зовет меня, зовет твой стон, / Зовет — и к гробу приближает».

<sup>28</sup> В стихотворении А.А. Фета «Ничтожество» (1880): «Тебя не знаю я».

<sup>29</sup> Скорее всего, речь идет о немецком живописце и скульпторе Франце фон Штуке (Franz von Stuck; 1863–1928).

<sup>30</sup> Пьеса П.И. Чайковского «Rêverie du soir» («Вечерние грезы») (Op. 19).

<sup>31</sup> Имеется в виду Вторая мировая война, начавшаяся 1 сентября 1939 г.

<sup>32</sup> Абельяр Пьер (Abélard/Abailard; ок. 1079–1142) — французский философ и теолог-схоласт. Известна его автобиография «История моих бедствий» («Historia calamitatum mearum»).

<sup>33</sup> В.Ф. Сазанович.

<sup>34</sup> Ср.: (Отк. 22, 2).

<sup>35</sup> Из стихотворения А.А. Фета «А.Л. Бржежской» (1886).

<sup>36</sup> В.Н. Ильин цитирует в церковнославянском переводе 1-е Соборное Послание апостола Иоанна Богослова. В русском Синодальном переводе: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем» (1 Ин. 3, 2).

<sup>37</sup> Аллюзия на название цикла из семи романов французского писателя Марселя Пруста «À la recherche du temps perdu», опубликованного в 1913–1927 гг. (в русском переводе: «В поисках утраченного времени»). В дневнике В.Н. Ильин размышлял о том, как он может написать свои воспоминания: «...думаю о писании “Пережитого”, чем это должно быть? Вроде “Былого и дум” Герцена, вроде “Recherche du temps perdu” Марселя Пруста или вроде оживляющего воспоминания, как в “Синей птице” Метерлинка?» (запись от 1 февраля 1942 г. // Архив ДРЗ. Ф. 31. Оп.1. Д. 4. Л. 29).

<sup>38</sup> В.Н. Ильин использует теософский и антропософский термин (более распространенный вариант — «Хроники Акаши»), который означает мистическое знание, включающее совокупный опыт человечества и объясняющее способность к ясновидению.

<sup>39</sup> Хутор Россоховский находился в Народицкой волости Житомирского уезда Киевской губернии.

<sup>40</sup> Василий Буслаев — герой новгородских былин, идеал молодецкой удали и бесшабашности.

<sup>41</sup> Личность, дело, эмоциональное мышление (нем.).

<sup>42</sup> Из стихотворения А.А. Фета «На железной дороге» (1859–1860).

<sup>43</sup> Имеется в виду «Могучая кучка» — творческое содружество композиторов (М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, Ц.А. Кюи), теоретика музыки В.В. Стасова, действовавшее в Петербурге в конце 1850-х — 1870-е гг. и занимавшееся изучением фольклора и возможностей воплощения в музыке русской национальной идеи.

<sup>44</sup> См. статьи В.Н. Ильина о Шумане, написанные осенью 1956 г. к 100-летию со дня смерти композитора: «Роберт Шуман и проблемы литературно-музыкального романтизма» и «Роберт Шуман — великий романтик и поэт в звуках» (Архив ДРЗ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 391).

<sup>45</sup> Речь идет о сонате № 1 *fis-moll* Р. Шумана (Op. 11; 1833–1835).

<sup>46</sup> Речь идет об аббате Эммануэле Жозефе Сийесе (Сиейес) (Sieyès; 1748–1836), французском политическом деятеле периода Великой французской революции. Ему принадлежит фраза, ставшая крылатой: «Что такое третье сословие? Всё. Чем оно было до сих пор при существующем порядке? Ничем. Что оно требует? Стать чем-нибудь».

<sup>47</sup> Речь Шарля Мориса де Талейрана-Перигора (Talleyrand-Périgord; 1754–1838), французского политика и дипломата, министра иностранных дел при нескольких режимах, была афористична, многие его высказывания стали крылатыми выражениями.

<sup>48</sup> «Тот, кто не жил при старом режиме, тот не знает сладости жизни» (фр.) — слова Ш.М. Талейрана, приводимые в мемуарах Ф.П.Г. Гизо: «Qui n'a pas vécu dans les années voisines de 1789 ne sait pas ce que c'est que le plaisir de vivre» («Тот кто не жил до 1789 г., тот не знает всей сладости жизни»).

<sup>49</sup> Тайна, внушающая страх (лат.).

<sup>50</sup> Неточная цитата из стихотворения В.С. Соловьева «Мы сошлись с тобой недаром...» (1892). У Соловьева: «Свет из тьмы. Над черной глыбой / Вознестися не могли бы / Лики роз твоих, / Если б в сумрачное лоно / Не впивался погруженный / Темный корень их».

<sup>51</sup> Скорее всего, речь идет о городе и железнодорожной станции Барановичи Полесские.

<sup>52</sup> Соната № 11 для фортепьяно *A-dur*, 3 часть «Rondo a la Turka» («Рондо в турецком стиле») В.-А. Моцарта.

<sup>53</sup> В роду баронов Меллер-Закомельских было много известных военных деятелей. Однако выявить биографические сведения об адмирале Петре Меллер-Закомельском не удалось.

<sup>54</sup> Крейтер Владимир Владимирович (1888–1950) — полковник (1917), генерал-майор (1920). Окончил Суворовский кадетский корпус (1907), Николаевское кавалерийское училище (1909) и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Первой мировой войны: офицер и начальник Сумского гусарского полка; офицер в штабе 3-й кавалерийской дивизии, с апреля 1917 г. начальник штаба этой дивизии. В октябре 1918 — июле 1919 г. начальник отдела в штабе Добровольческой армии и начальник штаба бригады, затем до марта 1920 г. начальник штаба 1-й и 2-й кавалерийских дивизий. В апреле–октябре 1920 г., после эвакуации в Крым, командир 1-й кавалерийской дивизии Русской армии генерала П.Н. Врангеля, затем командир 2-й бригады 2-й кавалерийской дивизии. Эвакуирован из Крыма в ноябре 1920 г. В межвоенный период жил в Панчево (Сербия), в начале 1920-х гг. служил в сербской пограничной страже. Во время Второй мировой войны служил в Русском Охранном корпусе, в конце войны принял штаб корпуса. После войны переехал в Германию, умер в Дахау (под Мюнхеном).

<sup>55</sup> Анаморфоз (греч. образ, форма) — конструкция, созданная таким образом, что в результате оптического смещения некая форма, недоступная поначалу для восприятия как таковая, складывается в легко прочитываемый образ.

<sup>56</sup> Цитата из стихотворения Н.А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

<sup>57</sup> Неточная цитата из стихотворения А.А. Блока «Я — Гамлет. Холодеет кровь...» (1904). У Блока: «И гибну, принц, в родном краю / Клинком отравленным заколот».

<sup>58</sup> В.В. Розанов был штатным сотрудником газеты «Новое время» А.С. Суворина с 1898 г. и до ее закрытия в 1917 г.

<sup>59</sup> Аллегорическая сказка В.М. Гаршина (1880).

<sup>60</sup> Соответственно (*лат.*).

<sup>61</sup> «Моя вина, моя вина, моя величайшая вина!» (*лат.*) — формула покаяния у католиков.

<sup>62</sup> (Пс. 37, 6).

<sup>63</sup> Неточная цитата из стихотворения Г.Р. Державина «На смерть князя Мещерского». У Державина: «Где стол был яств, там гроб стоит; / Где пиршеств раздавались лики, / Надробные там воют клики / И бледна смерть на всех глядит».

<sup>64</sup> Майер Генрих (Maier, Mauger; 1867–1933) — немецкий философ и психолог. Профессор университетов Цюриха (с 1900 г.), Тюбингена (с 1901 г.), Геттингена (с 1911 г.), Гейдельберга (с 1918 г.), Берлина (с 1920 г.). В книге «Психология эмоционального мышления» (Тюбинген, 1908; рус. пер. 1914) предложил классификацию форм человеческого мышления, в которой особое место отвел аффективному мышлению.

<sup>65</sup> В архивном фонде В.Н. Ильина сохранились небольшие воспоминания «Лики моих видений покойного государя», где он пишет о том, что дважды видел императора Николая II: в сентябре 1911 г. при освящении отреставрированного храма св. Василия в окрестностях г. Овруча близ имения Норинск (Киевская губ.), принадлежавшего матери Владимира Николаевича, и, вероятно, 27 января 1915 г. во время приезда императора в Киев (Архив ДРЗ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 672. Л. 1, 2, 4).

<sup>66</sup> На улице Дарю в Париже находится храм св. Александра Невского.

<sup>67</sup> В дни торжеств по случаю коронации 14 (26) мая 1896 г. императора Николая II на окраине Москвы на Ходынском поле 18 (30) мая было организовано народное гуляние, в результате произошедшей там массовой давки погибли или были покалечены несколько тысяч человек.

<sup>68</sup> Вопрос чести (*фр.*).

<sup>69</sup> Рубинштейн Николай Григорьевич (1835–1881) — пианист, дирижер, педагог. Основатель Московской консерватории и ее первый директор (с 1866 г.).

<sup>70</sup> Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) — писатель, литературный критик, мемуарист. В.Н. Ильин подразумевает его автобиографические книги «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова-внука» (1858).

<sup>71</sup> Из стихотворения А.С. Хомякова «Киев» (1839).

<sup>72</sup> У Хомякова: наш.

<sup>73</sup> Из стихотворения А.С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет...» (1825).

<sup>74</sup> Факт (*нем.*).

<sup>75</sup> Здесь: видимость и правда (*нем.*).

<sup>76</sup> См. коммент. 38.

<sup>77</sup> «То, что нас в жизни огорчает / В искусстве охотно услаждает» (*нем.*). Неточная цитата из «Фауста» И.-В. Гёте: «Was im Leben uns verdrießt, / man im Bilde gern genießt».

<sup>78</sup> Искусство и воспоминание (*нем.*).

<sup>79</sup> Искусство и поиск утраченного времени (*фр.*).

<sup>80</sup> См. коммент. 35.

<sup>81</sup> Из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825).

<sup>82</sup> Городецкая Надежда Даниловна (1901–1985) — писательница, богослов, журналистка. В 1919 г. через Константинополь попала в Югославию, училась в Загребском университете. С 1924 г. жила во Франции, в 1934 г. переехала в Англию. В дальнейшем стала профессором Оксфордского университета.

<sup>83</sup> Из книги А. Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости» («Lebensweisheit»), где приводятся слова Фауста (И.-В. Гёте): «Всякие люди бывают» (*нем.*) (в переводе Б.Л. Пастернака эта фраза звучит так: «Что ж делать, уж такой чудила» — 1-я часть, сцена «Сад Марты»).

<sup>84</sup> Бой не на жизнь, а на смерть (*нем.*).

<sup>85</sup> Из работы А. Шопенгауэра «Parerga und Paralipomena» <<Примечания и дополнения>> (1851): «Поскольку его настоящая индивидуальность, т. е. его моральный облик, его познавательные способности, его характер, его физиономию и прочее никто не может изменить, мы теперь его сущность проклянем, так что ему ничего другого не останется, как бороться с нами как со смертельным врагом» (*нем.*).

<sup>86</sup> Кейзерлинг Герман (Keyserling; 1880–1946) — немецкий философ, автор работ по антропологии и философии культуры. В.Н. Ильин ссылается на его работу «Южноамериканские размышления» («Südamerikanischen Meditationen», 1932).

<sup>87</sup> Слуцкая мужская гимназия — одно из старейших учебных заведений Белоруссии, основанное в 1617 г. Янушем Радзивиллом: первоначально это была кальвинистская школа, затем гимназия,

с 1778 г. — публичное евангелическое училище, с 1809 г. — публичное уездное училище, с 1868 г. — государственная классическая мужская гимназия; в настоящее время это гимназия № 1 с углубленным изучением английского языка.

<sup>88</sup> М.М. Ивановский окончил курс Петербургского историко-филологического института, преподавал латинский и греческий языки, с 9 августа 1891 г. директор Слуцкой мужской гимназии; председатель правления Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Слуцкой гимназии, товарищ председателя Слуцкого комитета попечительства о народной трезвости, член Слуцкого отделения Минского епархиального училищного совета; награжден орденами Св. Анны и Св. Станислава 3-й степени, серебряной медалью в память императора Александра III (см.: [Отчет о состоянии Слуцкой гимназии... 1899, с. 8; Глебов 1903, с. 188]). Ивановский был уважаемым человеком в городе, в ежегодных отчетах Слуцкой гимназии отмечались положительные изменения в организации учебного процесса и хозяйственные улучшения во время его директорства.

<sup>89</sup> «Стаканчик Клико» (*фр.*) — из рефрена популярного вальса А. Райналя «La valse du Cliquot».

<sup>90</sup> Речь идет о фортепьянной пьесе «Воронья свадьба» (*нем.*) из цикла «Норвежские танцы и песни» (1870), оп. 17, № 25.

<sup>91</sup> Каменное здание Слуцкой гимназии, двор которой описывает В.Н. Ильин, было построено в 1829–1838 гг. по проекту профессора архитектуры Виленского университета К. Подчашинского. До сих пор там располагается один из корпусов гимназии. Здание признано памятником архитектуры эпохи классицизма.

<sup>92</sup> Знаменский Николай Петрович — статский советник, учитель русского языка, инспектор Слуцкой гимназии с 1 августа 1891 г. по 1 июля 1897 г. [Глебов 1903, с. 188].

<sup>93</sup> Вероятно, В.Н. Ильин не цитирует Н.А. Бердяева, а передает общий смысл его слов. По смыслу к приведенной фразе близки высказывания Бердяева из книги «Философия неравенства» (1923): «В революции не бывает и не может быть свободы, революция всегда враждебна духу свободы»; «Дух революции, дух людей революции ненавидит и истребляет гениальность и святость, он одержим черной завистью к великим и к величию, он не терпит качеств и всегда жаждет утопить их в количестве» [Бердяев 1990, т. 4, с. 260, 262].

<sup>94</sup> «Traumeswirren», фантастическая пьеса Р. Шумана для фортепьяно (Op. 12).

<sup>95</sup> Е.В. Васильев — статский советник, заслуженный преподаватель русского языка, инспектор Слуцкой гимназии с 11 июня 1897 г. (см.: [Глебов 1903, с. 188; Отчет о состоянии Слуцкой гимназии... 1899, с. 8, 9]).

<sup>96</sup> Сладость жизни (*фр.*).

<sup>97</sup> Финк Евгений Иванович (псевд. Эйжений; 1885–1958) — фотограф, экстрасенс, предсказатель, жил в Латвии. В 1941–1953 гг. отбывал наказание в Сибири как враг народа.

<sup>98</sup> В Архиве ДРЗ сохранилась 1-я часть этой симфонии, написанная 28 июля — 14 сентября 1933 г.

<sup>99</sup> Из стихотворения В.Ф. Ходасевича «День» (1921).

<sup>100</sup> Из стихотворения А.С. Пушкина «Вишня» (1815).

<sup>101</sup> Ольга Александровна Персиянова — дочь С.Н. Персияновой (урожд. Чаплиной), сестры Веры Николаевны Ильиной.

<sup>102</sup> Как такового (*лат.*).

<sup>103</sup> Из стихотворения А.С. Пушкина «Красавица» (1832), написанного в альбом графини Е.М. Завадовской.

<sup>104</sup> Слуцкую мужскую гимназию окончил Антон Антонович Петкович (псевд. Адам Плут; 1823–1903), польский и белорусский писатель, публицист. Скорее всего, любимым учителем В.Н. Ильина был кто-то из его родственников.

<sup>105</sup> Из стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога» (1826).

<sup>106</sup> Речь идет о широко использовавшейся молотилке (первоначально на конной тяге), изобретенной Сайрусом Холлом Маккормиком (McCormick; 1809–1884) и его отцом. Изобретение было запатентовано в 1834 г., затем неоднократно усовершенствовалось. Для реализации механизма была создана компания McCormick Harvesting Machin Company, в 1902 г. ставшая частью International Harvester.

<sup>107</sup> Речь идет о «Курсе физики» (т. 1–4, 1897–1915), имевшем несколько изданий. Его автор — О.Д. Хвольсон (1852–1934), ученый, педагог, член-корреспондент Петербургской АН, почетный член АН СССР.

<sup>108</sup> Скорее всего, имеется в виду «Курс дифференциального и интегрального исчисления» (Харьков, 1903) М.А. Тихомандрицкого (1844–1921), доктора чистой математики, профессора Харьковского университета.

<sup>109</sup> Речь идет об одном из учебных пособий: или о «Курсе сопротивления материалов» (1911), или о «Курсе теории упругости» (т. 1, 2, 1914–1916), оказавших значительное влияние на инженерное образование не только в России, но и за рубежом. Их автор Степан Прокофьевич Тимошенко (1878–1972), ученый-механик, профессор Киевского политехнического института и декан его инженерно-строительного факультета, в 1912–1917 гг. консультант при постройке судов русского военного флота; после Октябрьской революции выехал через Крым в Константинополь, жил и работал в Югославии, США, ФРГ.

<sup>110</sup> Из стихотворения А.А. Блока «Я — Гамлет...» (1914).

<sup>111</sup> Речь идет о книге «В царстве черных» («In darkest Afrika») английского путешественника, исследователя Африки, журналиста Генри Мортон Стэнли (Stanley; 1841–1904). В книге описывается его третье путешествие в Центральную Африку в 1886–1889 гг. в район реки Конго для освобождения немецкого путешественника и колониального деятеля Эмина-Паши (Э. Шнитцера). Книга была переведена на русский язык в 1905 г. М.Д. Танстрем.

<sup>112</sup> Имеется в виду широко распространенный в России и выдержавший десятки изданий «Сборник арифметических задач» В.А. Евтушевского (1836–1888), математика, педагога; преподавал математику великому князю цесаревичу Николаю Александровичу и великому князю Георгию Александровичу.

<sup>113</sup> Обрусевший немец Юлий Александрович Меллер (1865–1944), спортсмен, изобретатель, скорее всего, дальний родственник В.Н. Ильина, открыл в 1895 г. в Москве мастерскую по производству велосипедов, преобразованную в 1900 г. в акционерное общество. Кроме велосипедов общество производило также паровые автомобили, моторные велосипеды, мотоциклы и др. В 1914–1917 гг. фирма стала основным поставщиком техники для русской авиации. После Октябрьской революции национализирована, ее бывший владелец остался жить и работать в Москве.

<sup>114</sup> В 1915 г. Ю.А. Меллер из патриотических соображений взял фамилию жены и стал Брежневым.

<sup>115</sup> П.И. Чайковский был одним из любимейших композиторов В.Н. Ильина, написавшего несколько статей о творчестве композитора. Так, в статье «Чайковский и русская симфония» Ильин писал, что «...творческое его наследие в количественном и качественном отношении <...> могло бы сделать честь целому поколению композиторов» ([Ильин 1965, с. 58], см. журнал «Вопросы философии», 2014, № 10, с. 86). См.: Архив ДРЗ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 583, 584, 588.

<sup>116</sup> В.Н. Ильин пишет о следующих симфониях П.И. Чайковского: № 4 (f-moll), ор. 36 (1877); № 5 (e-moll), ор. 64 (1888); № 6 (h-moll) «Патетической», ор. 74 (1893). Пятую и шестую симфонии, написанные композитором в последние годы жизни, В.Н. Ильин характеризовал, наряду с некоторыми другими сочинениями, как «пожар творчества», а шестую симфонию называл «величайшим симфоническим произведением России девятнадцатого века <...> поэмой смерти» [Ильин 1965, с. 75, 78]. Упоминанное трио для фортепиано, скрипки и виолончели (a-moll) «Памяти великого художника», ор. 50 (1882) посвящено Н.Г. Рубинштейну, у которого училась Н.П. Чаплина, бабушка Владимира Николаевича. В трио, по мнению В.Н. Ильина, сосредоточены «все свойства прекрасной музыки» Н.Г. Рубинштейна — «рыдающая печаль», «мощь, яркая русскость», «громадная техника» [Там же, с. 73].

<sup>117</sup> В дальнейшем этот тезис В.Н. Ильин сформулирует следующим образом: «Музыка Чайковского глубоко человечна и, конечно, ни в какой степени не классовая... но стиль Чайковского, его внешний стиль (ибо есть еще стиль внутренний) — дворянско-помещичий и притом скорее приближающийся к духу эпохи императора Александра III» [Там же, с. 61].

<sup>118</sup> Козельщанская икона Божией Матери — один из наиболее почитаемых образов Русской Православной Церкви. Привезена в Россию из Италии одной из придворных дам императрицы Елизаветы Петровны, в XIX в. находилась на Украине и принадлежала роду Капнистов. После чудесного излечения Марии Капнист в 1881 г. для иконы был построен храм, преобразованный в женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В настоящее время икона находится в Красногорском Покровском женском монастыре (Киевской епархии).

<sup>119</sup> В.Ф. Сазанович, будучи командиром 2-й гренадерской артиллерийской бригады, воевавшей в районе города Барановичи, летом 1916 г. участвовал в боях с применением отравляющих веществ русской и германской сторонами. Скончался 18 ноября 1943 г. в госпитале св. Анны в Париже.

<sup>120</sup> Этюд № 5 Ф. Листа «Блуждающие огни» из цикла «Этюды трансцендентного исполнения» («Этюды высшего исполнительского мастерства»; 1-я ред. 1826).

<sup>121</sup> «Полет Валькирий» («Der Flug Walkirii», «Walkürenritt» или «Ritt der Walküren») — начало 3-го действия оперы Р. Вагнера «Валькирия» (1856), второй из четырех опер цикла «Кольцо нибелунга»; одно из наиболее известных произведений композитора.

<sup>122</sup> «Flammes sombres» — танец «Темное пламя» (Op. 73. № 2) из цикла А.Н. Скрябина «Два танца» (1914); «Прометей, Поэма Огня» — сочинение А.Н. Скрябина для большого оркестра, фортепиано, хора и органа (Op. 60; 1909–1910).

<sup>123</sup> Εκπύρωσις — мировой пожар (*греч.*).

<sup>124</sup> Неточная цитата из басни И.А. Крылова «Пожар и алмаз» (1813–1814). У Крылова: «Смотри, как все усилия людей / Против себя я презираю; / Как с треском всё, что встречу, пожираю — / И зарево мое, играя в облаках, / Окрестностям наводит страх!»

<sup>125</sup> Πῦρ — огонь (*греч.*).

<sup>126</sup> Неточная цитата из цикла стихотворений А.А. Блока «На поле Куликовом» (1909). У Блока: «Я слушаю рокоты сечи / И трубные крики татар, / Я вижу над Русью далече / Широкий и тихий пожар».

<sup>127</sup> Περὶ φύσεως — природой (*греч.*).

<sup>128</sup> Скорее всего, имеются в виду «Начальные основания физики для городских училищ и учительских семинарий» (М., 1875; 5-е изд. 1891), учебное пособие А.Ф. Малинина (1835–1888), педагога.

<sup>129</sup> От сочинения древнегреческого философа Анаксимандра (ок. 611 — 545 гг. до н. э.) сохранилась лишь одна фраза в комментариях Симпликия к «Физике» Аристотеля: «А из каких <начал> вещам рождение <...> назначенный срок времени» [Фрагменты... 1989, ч. I, с. 117]. Эта фраза и мысли Анаксимандра, известные в пересказе других античных философов, обросли множеством интерпретаций, одну из которых предложил и В.Н. Ильин.

<sup>130</sup> Милет, самый могущественный и богатый из ионийских городов Малой Азии, был разрушен после подавления восстания против персидского владычества.